

P 32.650

ЮРИЙ НАГИБИН



**БОЛЬШОЕ
СЕРДЦЕ**

ЗВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1944



ЮРИЙ НАГИБИН

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

РАССКАЗЫ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Москва ★ 1944

Солдатская душа

Я ехал с Волховского фронта в Москву. На станции Санково к нам в вагон подседа большая группа выздоравливающих раненых бойцов. Они только что выписались из госпиталей и сейчас направлялись в долгосрочный отпуск домой. У кого рука на перевязи, кто волочил ногу. Возвратиться на верхнюю полку смогли только немногие, но настроение у всех было веселое, в предвкушении близкой встречи с женами и родными местами. Война, которой они честно послужили, осталась позади, для кого надолго, а для тех, кто ехал на год и больше, надо думать, и насовсем.

Когда поезд тронулся, на площадку вскочил человек в засаленном полушубке. В руках он держал чайник, плеснувший крутым кипятком, три черных лепешки и несколько старых газет. Отпускники радостно заталдели. Никто из них впопыхах не озаботился прихватить ни кипяточку, ни газеты для курева.

— Эх, вы, — инвалиды, — сказал человек, делая своим добром, — разве ж так можно, — солдатик должен себя любить...

— Да мы домой едем, — объяснили ему, — ни о чем другом памяти нет...

— А я куда? — обидчиво сказал человек. — Отпущен домой, как есть тяжело пострадавший

от многих ран. — Человек скинул полушубок, и на правой стороне его груди все увидели четыре красных и две золотых полоски. Он провел по ним узловатым пальцем, как по клавишам. — Четыре верхних за год, а последних две — за один бой. Два месяца в госпитале провалялся. Встал — будто здоров, а врачи говорят: «Много крови потерял» — и дают мне отпускную, через три месяца прийти на пересмотр: «Домой, к жене своей, пока поезжай». — И человек счастливо захохотал.

— У тебя, парень, на груди целная история твоей фронтовой жизни, — сказал здоровенный связист с черной повязкой на глазу. Он ткнул в верхнюю красную полосу. — Эту вот как заработал?

— Эту я не уважаю, — охотливо ответил человек, — я тогда дураком был — третий день всего на фронте. Меня сержант в поиск взял. Ползли мы пластуном по шичейной земле, а немец нас из миномета накрыл. Я с непривычки вжался в землю, сержант на меня орет, а я словно прирос... «Трус, — он говорит, — не русская душа!» — и пополз один.

Меня чуть слеза не прошибла. Я встал во весь рост и пошел. Сержант меня кроет, а я думаю: «Раз такие слова пошли, нет мне интереса жить!» Ну, меня и жвахнуло по плечу. Да чепухово — царашина, только шубу зря порвало. Но в поиск и с царашинной неважненько идти. А пришлось. Зато умней стал.

Открытая манера человека привлекла внимание бойцов. С верхних полок свесились головы. Люди слушали, курили и сбрасывали толстый пепел на пол.

— Ну, а эта? — спросил связист про другую ленточку.

— Эта тоже по дурацки — окопался плохо. Меня и чиркнуло. Вот здесь уж серьезный разговор был: мы взводом против батальона оборону держали. У нас только один не ранен остался. И все ж таки дождался до подкрепления. У меня бедро до кости задело. За это меня после госпиталя на три дня в тыл отпустили. А как в тыл пришел, так сразу и этой украсился, — указал он на последнюю красную ленточку.

— Это как же? — удивился связист.

— Есть тут кто с Волховского? — спросил человек и пристально оглядел своих слушателей, словно думал по глазам определить волховчанина. Но все, кроме меня, были с соседнего, Северо-Западного. — Если кто был, то, верно, слышал про горловину...

— Которая у Мясного бора? — сказал я.

Человек радостно осклабился и закивал головой.

— Она самая. — И, не удержав радостного чувства, что встретил «земляка», он достал кисет и поднес мне: — Угощайтесь, товарищ лейтенант... Так вот, шел я в отпуск. Прошел горловину — так у нас дорогу звали, ее немец под огнем держал. Вышел к реке, а там машины с боевым грузом стоят. Шофера ехать бояться. У них двое гробанулись, народ был молодой, необстрелянный, заробели. Что было делать, — сел я за руль головной машины. Прорвались, ничего, да только меня царашнуло слегка — немецкая кукушка. Так с завязанной рукой и проходил в тылу...

— Ну, а золотенькие?

— Это вот сознательная вещь. Я тогда уж в артиллерии был. Наши отбросили немца за Вол-

хов, а он в контратаку пошел. Мы его пустили на середину реки и дали из наших дивизионных по льду прямой наводкой. Наломали дров — может, их целый батальон под лед ушел. Но немец упорный, дьявол. Шесть раз лез, шесть раз мы его топили. Понял он, что так не пройдет, и пустил на нашу батарею восемь пикировщиков. Ну, и дали они нам! Бомбы, рельсы, колеса какие-то — всё нам на башку. Свист от них — сердца своего не слышишь. Выдохлись мы в общем, но и немец выдохся. Мы с последних сил ввалили ему разок, он и посыпал, а за ним и «Юнкеры». Мы враз упали на землю — и спим. Проснулся я в госпитале. Живого места на мне нет. Но сок во мне густой, я в два месяца опять на ноги встал. Думал обратно идти. Нет. Врачи говорят: «Мало в тебе крови осталось, езжай домой, наполняйся». Я и поехал...

— Как же, парень, тебе ордена не дали? — спросил кто-то с верхней полки.

— А за что? — удивился человек. — Я — средний солдат. — Он достал кيسет и свернул козью ножку. Свернул он ее ловко, бывало, в три движения, и вставил в щербину между передними зубами.

— Да ты не скромничай, сразу видать — настоящий солдат, — сказал связист, наблюдательный парень. Он сказал как бы в шутку, но, видно, затронул в человеке какую-то чувствительную струну.

Прочистив мозги глубокой затыжкой и выпустив отработанный дым через нос, человек сказал с жаром:

— Ошибаешься, друг. Настоящий солдат — в наступлении. Тогда каждый солдат становится

лучше. Сам-то я не сподобился, полтора года в обороне лежал. Но чувствую, да и ребята с юга были — рассказывали. В наступлении рука к пулемету прикипают, бьешь — так насмерть. И легкость в солдате тогда — ни смерть, ничего не страшно... А я тяжелый солдат — оборонительный... Все полтора года ждал сразиться в наступательном бою, и вот дождался — к бабе своей сражаться еду. — Он вздохнул, затаился, так что огонек добежал до пальцев, нашел в этом верное солдатское успокоение и тут только заметил, что группа его слушателей поредела.

Поезд подходил к местам, знакомым большинству отпускников. Кое-кто собирал вещички, кто, за неимением багажа, увязывал самого себя потуже, а другие припали к окнам. Время от времени слышались возгласы:

— Глуховка! Ох ты мать честная! И колокольня стоит!..

— А большак-то, господи!.. И осинка цела!..

Человек, еще не расставшись со своими мыслями, равнодушно взглядывал на людей при каждом новом возгласе, затем встал и тоже подошел к окну.

За мутным стеклом лежал милый, среднерусский край. Ровный белый простор с темной полоской леса на горизонте. Недавно здесь кружилась поземка, расчертив снег, словно огромной метлой, но теперь стихла, и простор лежал умиротворенный и чуть усталый, как море после шторма. По косогорам лежали черные деревеньки. Отставая от поезда, в белесом воздухе висела большая ворочья стая. Все было, как всюду в России, но люди узнавали особые милые черточки родных мест и застенчиво радовались. Кро-

шечная деревушка возникла впереди с низкими стелющимися дымками.

— Кузьминки! — воскликнул паренек с забинтованной головой. Он побледнел, лицо его дернулось — он не то усмехнулся, не то всхлипнул и бросился к выходу.

Поезд на секунду пристал к потонувшему в снегу полустанку и тронулся дальше. Мы видели из окна, как паренек бежал прямо по целине к деревушке.

— Неужто козельские Кузьминки? — забеспокоился волховчанин. — Я ж сюда в восемнадцатом ездил с отцом иконы на хлеб менять. Отсюда до нас верст двести. Да вон и часовенка, я ее враз узнал...

С этого момента человек не мог успокоиться. Как будто только сейчас до его сознания дошло, что он едет домой. Он стал то и дело спрашивать, какая станция, сколько еще осталось. А на остановках бежал к паровозу и на чем свет ругал машиниста, что тот пар жалеет и медленно везет. — Ведь полтора года не был, — твердил он без конца. — Я вещь, по совести сказать, и не верил, что взаправду домой попаду. Все думал: обязательно какая-нибудь помеха выйдет — то ли паровоз с рельсов сойдет, то ли пару нехватит, то ли сам помру... А как знакомые места увидел — верю. Будто детское сердце в меня вложили.

Потом он вдруг погрузился.

— Отвык я от мирной жизни. Раньше за женой жил, а теперь сам привык все делать. Может, жена и не узнает меня. Хорошая женщина, а только, знаете, что время делает. Другой я стал, обносился, и кровей во мне мало. Как думаете,

товарищ лейтенант? — спросил он меня с доверчивостью, как своего, волховчанина.

На вид ему было лет тридцать пять — тридцать шесть, худое лицо с большим, чуть крючковатым носом, на коже начавший сходить загар, глаза небольшие, чистые, весь он сухой, жилистый. Таким не приедается жизнь, и женщины их долго любят. Я сказал об этом человеку. Он повеселел.

За окнами быстро сгущались январские сумерки. Но люди всё не отходили от окна, кроме тех, кому далеко ехать — за Москву, на Волгу, в Сибирь. Те тихо и терпеливо курили в сторонке, не мешая чужому чувству. Поезд шел, останавливался у маленьких полустанков, оставляя на каждом из них горстку людей. Переволновавшись, человек затрёмал и проснулся инстинктивно, когда поезд почему-то надолго остановился на каком-то разъезде.

— Был бы такой машинист у меня в отделении, я б ему пять суток вкатил, — сказал человек, открыв глаза. — Сбегай узнай, чего мы застряли! — обратился он к связисту, и его просьба прозвучала, как приказание.

Связист быстро вскочил и кинулся к двери. Вернулся он скоро. Мы услышали его еще в дверях. Он радостно и будто пьяно орал:

— Где тут волховец? Подать сюда волховца!.. Ну, друг, ратуйся. — пока мы тут костями трясли, в мире-то что сотворилось: ленинградская блокада прована! Волховцы и ленинградцы у Ладони друг другу ручки жмут. Полное наступление!..

Человек несколько секунд остолбенело глядел на него, затем рот его злобно дернулся, он развернулся и схватил парня за грудь.

— Ты что со мной — шутки шутишь?..

— Да кто шутит, — парель виновато заморгал глазами. — Радио объявило. Весь народ знает.

— Ты стой! — злобно прохрипел человек. — Я этой минуты каждой своей жилкой ждал. Пятнадцать месяцев в болоте стыл, всю кровь в гнилую воду спустил. Ждал наступления, как счастья своего ждуг... А ты?..

— Да чего ругаться, господи боже мой! Тут радоваться надо...

— Радоваться... — человек отпихнул парня. — Много ты в солдатской душе понимаешь!

Он стащил с полки свой мешочек, сунул в него чайник, захлестнул петлей и забросил за спину.

— Да тебе ж далеко еще... — растерянно сказал связист, несколько на него не обиженный.

Человек ничего не ответил и подтянул ремень.

— Послушайте, — сказал я на правах «земляка», — заглянули бы хоть на день домой.

Грустная тень скользнула по лицу человека.

— Нельзя, — сказал он тихо, — я сердцем могу раскиснуть. И жену жалко будет...

Козырнул и стал пробираться к выходу. Он уже приоткрыл дверь, — клочок неудобной, смутно шевелящейся темноты возник за его спиной, — затем обернулся и сказал прежним веселым и добрым голосом:

— Прощайте, товарищи! Отдыхайте. Поправляйтесь. Мы уж без вас довоюем.

И захлопнул дверь.

Зерно жизни

Солнечный луч нагрел щеку Петра, он очнулся и увидел небо, темно-голубое между белых облаков, медленно плывущую по воздуху паутину с запутавшимися в ней блестящими капельками.

Он пошевелился, ощутил непослушную тяжесть тела и понял, что ранен. Закрыв глаза и снова утерял окружающий мир.

Страшная, торжественная тишина была внутри его существа. И он подумал: это смерть. И смерть испугала его. Петр никогда не переживал чувства умирания. Старый солдат, он был по всему телу мечен рубцами глубоких ранений. Но никогда раньше не думал Петр о смерти, упрямый шум жизни наполнял его уязвленное осколком или пулей тело, он сердился и хотел скорей здоровья и жизни.

Не то было сейчас: Петр не чувствовал в себе силы жить. Рана была в животе, по все его тело словно было схвачено непроходящей судорогой.

Смерть пугала его своей неизвестностью. Что нужно делать, чтобы умереть как следует, со смыслом, по-солдатски, не ожидая смерти в напрасных муках? Так положил про себя давно Петр Прошин на случай, если придет к нему смерть на боевом поле.

Он вспомнил, как умирал раненный в грудь сержант Шумилов. Сержант лежал под деревом. Петр поддерживал его голову, и сержант, слабо шевеля спекшимися губами, говорил окружившим его ребятам, чтобы они написали жене, просил Прохора Степалченко, своего односельчанина, не оставить его семью, если Прохор вернется домой в добром здравии, затем отругал новичка Тюрина за то, что тот «безо всякого» шел в атаку, попросил Петра повыше поднять его голову, вздохнул, медленно сомкнул веки и умер, словно улетел в другой край. И тогда смерть показалась Петру не трудным, понятным делом. Но здесь не было ребят, которые могли бы поддержать его голову в грубо-ласковых своих ладонях, некому было сказать прощальное слово, и вообще, впервые за всю свою долгую службу в армии, он, солдат Петр Прошин, почувствовал себя потерянным, не у дел человеком.

Ему стало страшно оставаться в темноте мутившегося сознания, он открыл глаза.

Он лежал почти в центре небольшого холма, того, что у них в части получил название «скупного пяточка». По склонам холма торчали массивные настилы немецких блиндажей — дотов, пояском охватывающих холм.

— Эх же меня куда занесло! — в первый раз удивился Петр своему положению. В памяти его отчетливо вставало начало атаки, потное и почему-то счастливое лицо командира взвода, которое он оборачивал к ним на бегу.

— Жмите, родные мои! — кричал он.

Помнил он, как потом взводный упал и впереди побежал сержант и тоже что-то кричал. Помнил

оя, как на бегу перескочил через труп нашего бойца, труп был запылён давней пылью, скрывшей черты его лица, и он подумал, что боец лежит здесь с последней атаки.

Затем они швыряли гранаты в черные дыры амбразур, помнил удар прикладом, который он нанес выскочившему из блиндажа немцу, и как хруснули кости его лица, — а в ладони он до сих пор ощущал вес своего удара, словно держал в руке камень. Затем его ударило, как показалось Петру, в голову, он чувствовал, что-то стало мучительно из него лезть, словно душа отдиралась от тела, а затем он очнулся, когда солнечный луч нагрел ему щеку.

«Раз я тут, значит, мы прорвались, — думал Петр, — а ребята тут должны быть...»

Он попробовал подняться, и боль, спокойно дремавшая в нем, словно вода в глубоком сосуде, ожила, прокатилась по телу и притянула его к земле. Он осилил ее и встал на колени. За косматым корневищем повалецного снарядом дерева Петр сразу увидел двоих товарищей. Один из них, Митя Винников, лежал навзничь, раскинув руки. В углу рта запеклось пятнышко крови, и на нем уселись желтые мухи, обмотка разматалась на правой ноге, обнажив белую кожу, и аккуратный солдат Митя уже не мог устранить неполадки. Другой зарылся лицом в землю, в неудобной, душной позе умер человек. Кулаки его рук упирались в землю, словно он хотел оттолкнуться от нее в последнем усилии, и по сердитости этого застывшего движения Петр узнал старого бойца Лабутина и понял, как дошли сюда его товарищи.

«Значит, захлебнулась, — с терпкой солдатской

тоской подумал Петр, — а ведь какой огонек на подготовку дали!» — И в огорчении он лег на землю, жалея, что смерть не взяла его сразу.

Петр старался не думать больше о своем положении — ни о боли, ни о смерти. Он закрыл глаза и в темноте полусознания лежал тихо и укромно, как в детстве под тулупом на материнской постели. В памяти его вставали виды другого края, окрест дальней Ладоги, где протекала его довоенная жизнь.

...Хороши избы на севере! В защиту от весенней хляби да от январских снежных завалов высоко подняты их фундаменты над землей. В такую избу не ступишь с улицы, перешагнув через порожек. Надо подняться на высокое резное крыльцо, ступеней в десять-пятнадцать, да из сенцов — три ступени, и тогда войдешь в деревянные, пахнущие смолой хоромы.

А уж и чистота в этих избах! Половичок исхожен до основы, а чист — хоть хлеба на него из печи выкладывай. От частого мытья сосновые полы, и столы, и лавки подернулись синевой. Иконы обернуты белоснежным рушником с крестовой вышивкой по краям.

А запахи в этих избах!

Запахи домовитости и довольства. В сенях пахнет осенью: огуречным рассолом; в кадке, в зеленоватой мутн, вперемешку с желтым укропом и разными травами — у каждой хозяйки есть свои излюбленные, — мокнут, насыщаются солью и пряным духом скользкие крепкие огурцы. Зимой здесь пахнет овчиной и войлоком. Весной — молоком и влажной шерстью. На войлочной подстилке лежит новорожденный телок, вылизанный теплым материнским языком, с мягкими

копытцами и большими девичьими глазами. Летом здесь пахнет многими лесными и полевыми запахами: чайной ромашкой, что сушат для целебных надобностей, ягодой разной, грибом, затем их замещают сочные запахи яблок, груш..

А в избе запахи не только по сменам года, но и на дню сколько раз сменяются. На рассвете утреннем тесто, всю ночь тяжело дышавшее в деже, заложит нос своим плотным телесным духом; утром печеным хлебом пахнет, в полдень — молоком из деревянного ведра, щами пахнет в обед и человеческим шотом пришедших с работы мужиков, и тогда раскрывают окна, и в комнату летят дурманы леса — фиалковые, — ландышевые... В ночи потянет горьковатым деревянным маслом от лампадки, а в ночной темноте дыхание людей наполняет горницу отяжеленными запахами съеденного и вымытого за день...

...Что-то глухо и настойчиво бьется в окошко, занавешенное черным пологом ночи. Петр знает — это клен, растущий под самым окном, то прижмет, то откинует от стекла свои широкие ладони. Хорошо засыпать под этот шум, покойно спать, наливаясь новой силой для дневного труда.

...С холода утренней росы вода у затона кажется теплой, вода спит, задернутая мутной пленкой, на ней застыли комары, расставив для ушора коленчатые жалкие ноги, иногда они сонно шевелят крыльями — верно, им видятся какие-то их маленькие сны. Идешь тихо по илисто-му дну, иногда оскользнешься на скрытой гальке, и вдруг тебя сильно ударяет по ногам. Быстро погружаешь руки в воду и хватаешь «под зебры» большого гладкого сома, бьющегося в перемете. Сом забивается под корягу, он сильный, скольз-

кий, верткий в воде, ломает тебе пальцы, баламутит воду, и немало потрудиться приходится пока ухватишь его за жаберные крышки и вырвешь дыхательные ворсинки. Тогда он разом слабеет, будто засыпает, и ты выводишь его на мелководье...

Был Петр Прошин из тех русских людей, что ходят по жизни с пристальной рабочей заботой, что не любят давать отдых своим хватким, жадным, мудро бережным рукам.

Любил Петр вдумчивый одинокий труд на своем небольшом приусадебном участке, на котором он умел выращивать овощ такой величины и сочности, что старухи шептались: «Земля у Петра завороженная...» В течение нескольких лет, вплоть до самой войны, Петр трудился над новым сортом овоща, который был бы сладок, как яблоко, сытен, как картофель, красиво гроздился бы, как виноград. Овоща он такого еще не получил, но в уголке огорода на тонкой ножке поднялось странное хрупкое деревцо, не похожее ни на какое другое, со свернутыми в трубочку листьями и мелкой завязи терпкими ягодами. Петр радостно удивлялся странному дереву и печалился его бесплодности, но надежды не утрачивал...

Еще больше любил Петр широкий, большой труд в колхозном поле. Общность усилий людей трогала его до корней души. На своей земле человек всегда немножко волк, а здесь он трудился с открытым сердцем. А если еще и песню кто подымал, то Петр совсем заходился любовью и начинал целовать работавших о бок женщины, молодых и преклонных, без разбору.

Поэтому и в армии ужился Петр легко, хорошим был солдатом. Военское товарищество, иде

все за одного, а один за всех, так пришлось ему по душе, что тяготы солдатского существования он сносил легко и с охотой.

— Если б с такой дружной да увесистой кватрой за жизнь после войны взялись, — часто говорил Петр, — было бы счастье в каждом доме.

Милые, родные образы легко, как в сновидении, проносились в памяти раненого. Но не покойное чувство умиротворенности рождали они, а беспокойство. словно воздух августовской полевой страды входил в его тело и наполнял его крепостью и рабочей силой. Петр отчетливо ощущал в себе эту беспокойную рабочую силу, наливавшую его мышцы, понуждавшую к труду, и хоть знал, что это обман, верил ей. Он попробовал приподняться, боль прокатилась по телу, на мгновение затушив сердце, и повалила Петра обратно в траву.

Несколько секунд лежал он совсем тихо, прижавшись щекой к земле. Он видел ее до мельчайшей трещинки, до мертвой желтой хвоинки, впившейся в грунт, до красных и зеленых песчинок, до маленьких, знаемых с детства, существ, что точат и точат в земле свои укрытые ходики и лазейки.

Его глазам этот клочок земли представлялся огромным полем — пахотой, волосяные скважины — теми горячими глубокими трещинами, что рассекают землю в засуху. И это подобие вызывало в нем привычную, страстную мысль о дожде.

Большая круглая капля гулкнула по лопуху, другая упала на землю. Она задержалась по краям пылью, а в середине голубело зернышко неба.

Земля впитала каплю — быстро, жадно, оставив от нее лишь черный следок.

Третья капля упала на висок Петра, разбилась и потекла в ложбину глаза и по щеке. Петр очнулся, почувствовал — мокро в глазу, решил, что он плакал. Жалко стало ему себя и стыдно. Он тихо оглядывал местность в надежде пайти что-нибудь, к чему бы приложить свое последнее солдатское усилие.

Два белых столбика пыли, высвеченные солнцем, возникли неподалеку от Петра и погасли. Еще и еще, — и он не сразу понял, что эти столбики — разрывы пуль. А когда понял, то равнодушно подумал: «Хоть бы в меня какая вошла...»

Еще несколько земляных фонтанчиков плеснули здесь и там.

«А ведь это наши бьют, — словно очнувшись, подумал Петр, — наши залегшие цепи метят по целям немецких дотов».

Мина, шурша, перелетела через Петра и разорвалась. Осколки ее спели над ним свою тоненькую, но не страшную для него теперь песенку. Разрыв этой мины был первым звуком, услышанным Петром, — до того он лежал словно в беззвучном мире. Сейчас он обрел слух, и то, что он услышал, взволновало и растревожило его. Разрывы мин и пощелк пуль чередовались с клекотом пулемета, шел ожесточенный огневой бой.

«Значит, ребята опять подымутся», — подумал Петр, и надежда на жизнь, на радость тронула его сердце.

Петр не мог видеть, как шла атака, но он слышал ее и, как старый солдат, по одному этому представлял себе ход боя. Заходящийся стрекот

пулемета из немецкого дота потонул в железном разрыве мин и снарядов, летящих с нашей стороны. И хотя они рвались часто, так что звук одного разрыва сливался со звуком другого, Петр с прустью определил:

«Это уж не тот огонек. Полковая трудится да мина взвод пытит. А что тут минами наковыряешь, когда у них восемь накатов? Тут дивизионные шужны...» — и он жалел товарищей, которые под укрытием такого слабого огня должны снова подыматься на бросок...

Затем огонь мина взвода прекратился, Петр понял, что цепи пошли в атаку. Снова заговорил немецкий дот, словно воскреснув из мертвых. Он, видимо, остался один, но казалось, что злая работа его пулеметов не будет иметь конца.

Какие-то шовые звуки достигли слуха раненого. Слабые и непрочные, они отличались от всех шумов огня, и мгновенно зашепщившимся сердцем Петр понял, что это крики поднявшихся в атаку ребят.

— Сердешные мои, — говорил раненый, и слезы текли по его изможденному лицу.

Немецкие пулеметы спорили с этим шумом, давили его, но чутким слухом Петр чувял, что шум этот живет, — то слабей, то выростая, мучась, борясь, он стремился вперед. И радостное, и горькое чувство владело Петром — он не с ними, он не может помочь этому милому шуму родных голосов, чтобы он задушил немецкий огонь и радостно прозвенел бы здесь, на этой истомленной долгим пленом земле.

А затем шум исчез. Петр приподнялся, он думал, что шум исчез только для его уха, но шума не было больше, только чагло, зло строчил пу-

лемент дота. Петру казалось, что страшная, мертвая тишина наплыла на мир, потому что исчез этот маленький живой шум, доходивший сюда от своих. А потом он понял темневшим, колеблющимся сознанием, что ребята снова залегли, снова притянула их земля, солдатская постель...

Пулемет, чавкнув, замолк.

И снова Петр остался наедине со своей болью, со своей смертной тоской. Ему хотелось забыться, утратить себя, пока снова в сухости начиненного железом и огнем воздуха не родится этот милый, родной шум. Но забытье не пришло. Растревоженное сердце колотилось сильно и часто, толчками разнося кровь по телу, на животе, словно из худой посуды, кровь истекала наружу.

Петр прижался губами к земле, сладко пахнущей теплым гниением, и, резким толчком отняв тело, встал на колени. Приступ боли, не знающей усталости, судорогой прошел по телу. Петр уперся руками в землю и на четвереньках пополз к мертвым бойцам, лежащим за деревом. Дерево легло на его пути непреодолимой преградой. Петр попробовал перебраться через него, но руки скользили по коре, не в силах поднять терзаемого болью тела. Петр лег на землю и стал дышать старательно и глубоко, будто пил воду из родника.

Там, где корни дерева вырвались из ложа земли, образовалась воронка с мягким дном. Петр сполз в воронку, ухватился за тонкие корневые волоски убитого снарядом дерева и стал подтягиваться. Волоски врезались в руку, но так даже лучше — теперь он их не упустил, — и постепенно Петр перевалил свое тело на другой край воронки.

Снова передых. Петр прислушался к стуку

сердца и осторожно, не тратя ни одного лишнего движения, опять пополз к мертвым товарищам.

Он отстегнул от пояса Шумилова неиспользованные гранаты. Две только оставались у него, остальные он покидал, — что ж, хорошо, что покидал, да вот Петру от этого больше работы: надо ползти к Лабутину.

Лежит на животе Сергуха Лабутин, граната под ним. И при жизни он жадный такой был, загребистый, любил говорить: «мое»...

Петр повернул Лабутина на спину и снял у него с пояса гранату.

Лицо Лабутина, проросшее посмертной щетиной, удивило Петра детски немудреным, открытым своим выражением. И таких круглых голубых глаз, не видел Петр прежде на лице Лабутина.

Петр размотал обмотку, разорвал ее на полосы и скрепил гранаты: три рядом, свою в середине, повыше, чтобы ручка с кольцом торчала.

Не легка последняя ноша солдата, а надо доползти и не умереть. В путь, Петр...

Он пересек сухую, метра два в поперечнике, пустыню, ожегшую его руки и сушью перехватившую горло; одолел прощаль — воронку, некоторое время полз вязкой пахотой черной, развороченной взрывом земли, продрался сквозь травяной лес, одолел воды быстрого ручейка. Черный страшный жук с железными челюстями едва не погрыз человека; гусеница встала на его дороге, угрожающе, скобой, выгнув спину; мухи, жужжа, кружились над ним, как стервятники над добычей; полевая мышь встала на задние лапы, засвиристела, погрозила передними и, скакнув, притаилась за лопухом.

Он полз, оставляя за собой пятна крови, ярко-красные на серой пыли, рыжие на траве, невидные на свежей земле.

Он прополз мимо того места, где пролежал неизвестно какое долгое время. Земля, словно постель, хранила на себе след лежавшего здесь человека, и желанной, покойной показалась она Петру, словно и впрямь была постелью в его родном доме.

Но он прополз мимо, экономя дыхание, бережливый, упрямый солдат.

Вот и тыл злой немецкой крепости — восьми-накатного земляного дома. Петр знает: впереди в узкие щели глядят пастороженные глаза, торчат рыльца пулеметов. Но здесь блиндаж слеп, как крот, ничего не видит, не ведает.

А там, дальше, — незримые Петру, но такие близкие его сердцу, словно он чувствовал их дыхание у себя на щеке, лежат ребята. Роют под собой землю короткими шанцевыми лопатами, набираются сил. И может, кто помоложе, грустит, думает о доме, о жизни своей, как думал и он. Петр, боец-ловчок, в первой своей атаке. И командир приноравливается к новому броску.

Треснул короткой очередью пулемет дота, то ли впустую, то ли оборвав чью-то позабывшую об осторожности жизнь. Петр встал на колени и, освобождая всю сбереженную силу, таким же широким, свободным движением, каким бросал в бою вешней земли горсть золотых семян, каким подавал на стог сено, метнул под уступ дота связку гранат, — и до того, как они взорвались, успел лечь на землю и прижаться к ней, милой и верной, своим измученным, наломанным телом.

Мать

Случилось это так. Лейтенант, мой друг, взял со стелы гитару и заиграл:

Средь полей широких
Я, как лев, цвела...

Хозяйка избы, где мы только что расположились, закрыла лицо коричневыми от солнца и рабочей многолетней притомленности руками и не то замялась, не то заплакала:

— К-а-а-к мой Васенька!..

Мой друг решил, что она смеется, он рванул перебором струны — и еще лише:

Жизнь моя отрадная,
Как река, текла...

Но я сидел сбоку и видел, что под худыми узловатыми пальцами женщины потекли длинные слезы. Я положил ладонь на струны и оборвал звук. Лейтенант испуганно-удивленно посмотрел сперва на меня, потом на женщину. Она отняла руки. Слезы лежали двумя узорами на ее щеках, растекшись по излучинам морщин.

— Играй, играй, милый, теперь уж все равно. — сказала женщина.

Но теперь мой друг понял и отложил гитару. Простая и столь частая сейчас, но не становя-

щаяся от этого привычной или легче, боль ослепительного материнского сердца...

Старуха встала и, подойдя к висевшей рядом с божницей и такой же большой, как божница, раме с фотографиями, достала карточку: три молодых парня, сидевших в обнимку. У парней были простые и, как всегда на подобных фотографиях, слишком серьезные лица. У среднего была такая же складка в уголке губ, как у этой женщины.

— Мой... Васюха,— сказала она с непередаваемым выражением. Она взяла карточку, как будто, чтобы показать нам, но не выпустила ее из рук и низко склонилась над ней. Все три парня были в высоких картузах, из которых не были вынуты картонные круги. Вася не был самым красивым из троих, была в его лице какая-то преждевременная мужественность, которая отяжеляла его всё же еще детские черты. Но по глазам матери я понял, что ошибался: он, конечно, был самым красивым, добрым и веселым.

Старуха всё смотрела на сына тем взглядом, от которого становится стыдно за свою собственную скудость и сердечную бедность, потому что в этот момент мать настолько превосходит сердцем всех остальных людей, что можно только склонить голову.

— Погиб? — немного затрудненным голосом спросил лейтенант. Он ощутил, что вот так, совсем просто, можно сейчас спрашивать мать о сыне.

— Три месяца писем нет...

— Это еще ничего не значит. Бывало, от ребят по полгода ничего не приходило, а потом обнаруживались: кто в госпитале, кто из окружения выходил, иногда полевая почта балует...

Старуха покачала головой.

— Нет... там, где он был, он не мог уехать.

И тут сказал я то, чего совсем не надо было говорить. Я сказал:

— Еще неизвестно, мать, может, он в плену.

Какая-то тусклая, испуганная надежда мелькнула в глазах старухи и тут же погасла. И вслед за тем в ее глазах зажглось совсем иное: тут были злость, гордость, скорбь, но не было этой жалкой женской надежды.

— Живым мой сын врагу не дается. Не такой породы. Он, как уходил, сказал: «Ну, мать, али грудь в крестах, али голова в кустах».

Мать молча глядела на карточку сына. Может быть, глядя на него, она опять видела эти глаза живыми и смотрящими, этот рот смеющимся, и ей трудно было побороть невольное счастье при мысли, что — пусть вдали, пусть на чужбине, но он жив. И мучительно ей было от этого счастья, потому что в нем она видела другую потерю своего сына, куда более полную.

— Нет,— сказала она с тоской и твердостью.— Не буду я этого думать. Вон его батьку,— указала она туда, где в засохшей рамке из хвоя висела пожелтевшая карточка узкоплечего солдата в картузе и усах,— немец в той войне уходякал. Только год за ним пожила, от старых ран помер. И как Василия отправляла, наказ дала: за три жизни немца к ответу взять — за мою, его и батькину. Не может он... жить... не должен.

Она встала, заправила прятку волос под платок и вышла. Карточку она унесла с собой.

Мы стали жить у нее в дому. Жили мы хо-

рошо. Каждый день она приносила нам томленое, с коричневой пенкой молоко и острой сладости душистый мед в сотах. С нами она почти не разговаривала с того первого дня. Обращалась с нами со строгой сдержанностью, как с теми, кто приносит в дом худые вести.

Ночами она не могла заснуть, мы слышали, как она возилась в своей комнатке.

Однажды ночью она вошла, босая, в длинной сорочке, и долго молилась перед Божницей. Я не мог разобрать слов, но молитва ее была горячая. Кончив, она ударила об пол головой и добавила:

— А оставишь на мне этот стыд, не будет тебе моей молитвы.

...Это было недели через полторы-две после нашего приезда. Она вошла к нам с поднятой головой, какая-то торжественная, скорбная удовлетворенность была на ее лице. В руках она держала письмо.

— О сыне моем, — сказала она и положила письмо на стол. Я машинально прочел:

«...я пишу вам из госпиталя, как есть один уцелевший из всех наших товарищей. Я был другом дорогого вашего сына Васплия, который погиб в геронческом бою от руки немецкого фашизма...»

Дальше я не читал. Я смотрел на мать.

— Мой сын — и отцов, — с тихой и торжественной гордостью проговорила старуха, — и быть за ним другого не могло.

Что было сказать, что было сделать? Встать на колени перед этой старой женщиной или сгнуть от собственной слабости перед таким величием и превосходством ее души? Нет, надо было жить, зло, беспощадно жить, чтобы быть достойным та-

кой силы, любви и несмиретного мужества этой русской женщины.

А потом она дала волю слезам. Она плакала бурно, причитая, зовя своего сына, чистыми и прозрачными слезами, в которых словно заключено обновление жизни, как бы тяжела и горька она ни была сейчас.

Старик

Старика провели не приметной лесной тропой к землянке полковника. Густые запахи весны наполняли лес. Эти запахи были особенно плотны, потому что деревья, растревоженные минами, истекали по срезам смолой и прозрачным вешним соком — свежей пахучей древесной кровью. Старик видел, как боец прилаживал к пораненной осколком березке стаканчики из коры, быстро наливавшиеся чистым, как слеза, легкой текучести соком, и одобрил про себя хозяйственную рачительность бойца. В армии человек приучается бережливому отношению к дарам природы, не пропускает за зря того, что может поддержать его телесную крепость и душевную ровность.

Перед землянкой полковника часовой-казах спросил у старика пропуск. Спросил в шутку — он знал старика: тот приходил к полковнику не в первый раз — и улыбнулся узкой белозубой улыбкой.

— Барбардировщик, — ответил старик, с удовольствием выговаривая трудное техническое слово, и строго спросил: — Отзывает?

Твердые скулы казаха покрылись смуглым румянцем. Отзывает был: «Бежецк», и он не мог его выговорить.

— Иди, пди, мозпо,— попробовал схитрить казах, но старик заупрямился.

— Бесецк,— сказал боец-казак и отвернулся.

— Бежецк,— поправил старик укоризненно. — Бе-жецк, а не Бесецк, город православный, бесов там сроду не было.

— Бом-бар-ди-ровщик,— с сердитым усилием, но безошибочно сказал казах.— Старый, а не знаешь.

Старик добродушно улыбнулся и хлопнул бойца по плечу.

— Ну вот, значит, в расчете.

В землянке, освещенной коптилкой — «катушкой», сидели двое: полковник и его адъютант. Полковник склонился над бумагами, адъютант, страдальчески приподняв брови, крутил на трофейном патефоне «Синий платочек». В патефон между крышкой и мембраной был засунут рукав ватника, чтобы музыка не мешала полковнику. Но тот не замечал патефона. Снова и снова перечитывал он лежащее перед ним донесение. В донесении сообщалось, что в расположение группировки прорыва, вклинившейся далеко вглубь немецкой обороны, все же благополучно сумели прибыть две машины с боеприпасами. В сухо официальном тоне донесения неволью проглядывала радость, которую вызвали эти две «благополучно прибывшие» машины. И эта радость особенно печалила полковника.

Единственная дорога, по которой шло снабжение группировки, была пристреляна немцами. Наши части работали на отжим немцев от дороги, но это был длительный труд, и пока что немцы били по дороге из минометов, а главное — их автоматчики-кукушки с верхушек елей прицельным

огнем расстреливали водителей. Конечно, машины прорывались. Но в группировке уже стало нехватать патронов, а батареи перебивались с залпов на выстрелы. Это было очень скверно, бойцы, полные боевого чувства после удачного прорыва, вступая расходокали злость, теряя наступательную инерцию. Но выхода он не видел: Командование не могло предоставить достаточного числа саперов для прокладки другой дороги — они были заняты на переднем крае. Да и где было ее вести, другую дорогу, когда кругом раскинулась непроходимая, заросшая осокой болотная топь? Оставалась одна надежда: на жителей недавно освобожденной от немцев большой деревни Любино-поле.

Когда за плащ-палаткой, заменявшей дверь, слышался тихий густой голос старика: «Можно к тебе, начальник?», полковник быстро поднялся из-за стола и с протянутой рукой пошел навстречу осторожно ступившему в землянку старику.

— Здорово, председатель, как живешь-можешь?

Полковнику крепко полюбилось чистое, кражистое, верное племя здешних северных мест. Застигнутые немцами врасплох в своей деревне, они и суток не оставались в родных домах: ночью, задушив часового, с женами и ребятами ушли в лес, укрывший в своем темном глухом нутре всю деревню. Даже калеки уползли вслед за односельчанами. А единственного предателя — шаршивую овцу чистого стада — любинопольцы еще при немцах, ночью, прийдя в село, порешили своим мужицким судом.

Любинопольцы были народ работающий, хозяйственный, искусный. Болотные жители, они привыкли окорачивать болото в борьбе с его вредными свойствами. Строишь ли дом — ухитришь

подвести фундамент повыше, гонишь ли дорогу — учитывай засос почвы, сад ли задумал расклинуть — памятуй о зыбучести зеленого мягкого ковра. Выработало это у здешних людей острый глаз и, в соответствии, сметку. К тому же, спокон веку любинопольцы славились по всей округе своими деревщиками: столярами, плотниками, мостовиками. Во всем, что касалось дерева, не было лучших умельцев. Про любинопольцев говорили, что они украли душу дерева и через нее знают все секреты в обращении с древесным материалом. В молодых годах они выделяли чудесные зыбки с затейливой резьбой, радостной для детского глаза. Дерево зыбок обладало удивительным свойством певучести, словно внутри его были заложены струны; зыбка, раскачиваясь, сама пела и убаюкивала дитя.

В зрелых годах, ближе под уклон дней, они переходили на дороги, мосты — всё, что устремляется вдаль и напоминает человеку о пути, который тоже имеет конец. В старости, оскорбев душой, они работали только гробы. И гробы их, надежные и прочные, окрестные жители приобретали загодя. Легче было думать о конце земной юдоли, когда перед глазами просторное крепкое и покойное ложе, в котором, верно, и захоронный сон будет сладок...

— Ну, вот, начальник, — неторопливо сказал старик, — обсудили мы на миру твое дело. Положили так: дорога будет. Саперов твоих нам не нужно. Они тебе в другом месте сгодятся. А тут дело простое, крестьянское, да и не привычны мы чужой силой работать.

— Без саперов? — удивился полковник. — Да разве сможете?

— Как саперы — павряд, — вздохнул старик, — лучше — сможем.

— Так, так... — сказал полковник. — Нет, председатель, это дело не пойдет. Зона военная, он бомбить станет. А вас и так в партизанах сколько убыло!

— Э, мил человек, народ, что хлеб, — с одного зерна поле вырастет. А мы на жизнь упрямые.

— Нет, дед. На такое дело я не пойду.

— Чудной ты, ей-богу! Разве ж мы допустим, чтобы нас немец-дурак поддел? Мы утайкой...

— Дорогу-то?

— Ее.

— Это как же вы исхитритесь?

— Э, начальник, — старик усмехнулся, — где ж ты видел, чтобы мастер свой секрет загодя открывал? Отстроим — сам увидишь.

— Ну, — сказал полковник и поднял руку с темной закожаневшей ладонью, — против сердца иду. Будь по-твоему! Сколько времени надо?

— Тринадцать дён.

— Давай положим полмесяца.

— Тринадцать дён, — твердо повторил старик, — тринадцать у нас заветное число. Тринадцатый гвоздь в голова гроба вгоняется. Тринадцать недель дерево под икону томится.

— По рукам! — И две руки, старая и молодая, но равно твердые, с трудовыми жилами и защитной рабочей огрубелостью кожи, соединились в пожатии.

— Э, начальник, да разве так дела делаются? Договор омыть надо...

На другой день караульный пропустил через мост пять стариков в стиранных белых рубахах домотканного полотна. Перейдя мост, старики ос-

тановились и стали оглядывать дорогу, разбитую, обезлюженную злым немецким огнем.

Рокадное полотно начиналось метрах в трехстах от моста и напрямик шло к лесу. Дорога была сейчас пустынной и тихой, но завалившиеся по обочинам машины разоблачали обманчивость этой нестойкой тишины. И короткая она была совсем, и можно было только дивиться плотности и точности огня, сделавшего ее непроходимой для быстроходных моторов.

Слева от дороги выделась роща, где на деревьях сидели немецкие кукушки; справа разворачивалось в нездоровой яркой зелени болото, кое-где тронутое кустарником. Старики двинулись по берегу реки вдоль болота. Они отошли с полкилометра, и затем двое из них стали приседать на корточки и выглядывать болотную траву. Свои наблюдения они сообщали деду Кондратенкову, старшему по годам и рабочему опыту. Дед Кондратенков был так древен, что позабыл свои года, и никто не мог ему напомнить: самый старейший на деревне помнил деда уже зрелым мужчиной с проседью в бороде.

— Вроде подходящее место, — определил наконец Макар Савельич.

— Зачини его, Макарушка, — сказал дед Кондратенков. — Только я бы сперва за теми кустиками пошукал. Там немец-кукушка ни в какие окуляры дорогу не высмотрит.

Неподалеку от полоски кустарников старики высмотрели, что им надо.

— Здесь и ляжет, — заключил дед Кондратенков. — Тешерь, ребятки, трое со мной пойдут д-рева метить, а ты, Митрофануш, дуй во весь задых

до народа. Пусть попрощаются со старухами и переходят на военный устой.

Трое стариков двинулись по яркой болотной целине к лесу. Вода хлюпала и отжималась из-под их ног, и случись тут посторонний наблюдатель, странно ему бы показалось, что их не засасывала хлюпкая топь.

В лесу старики подтянули потуже пояса на штанах и с небольшими топорами пошли по чаще отмечать деревья шостройней, почище телом.

— Пореже, ребятки, метьте, — предупредил дед Кондратенков, — чтоб немец сверху пролысенок не углядел.

К полдню подошли другие старики, работа за-спорилась.

Разметив нужное количество леса, старики постелили ватники и прилегли соснуть до почной темноты. Ночью, когда луна вышла из-под рога-того облака, озарив мир трепетным, как в сновидении, светом, над заречными болотами полетел глуховатый постук, словно огромные дятлы за-долбили деревья железными клювами.

Валили дерево в три удара: первый — косой — сдирал длинный лоскут коры, он как будто подго-товлял дерево к боли и смерти; второй принимал его до сердцевины; третий — обухом по надрубку — отымал дерево от его питающих корней. Дерево валилось, разрывая последние ниточки-волокна, грустно шумя листьями по кущам соседних де-ревьев.

— Стонет, сердешная, — приговаривали старп-ки, жалея и убивая дерево.

Поверхешное дерево они обрубали по кроне, очищали от нижних ветвей, бревна увязывали в плоты.

...Через неделю полковник послал адъютанта узнать, как идет работа, не терпят ли старики в чем пужды. Адъютант вернулся смущенный.

— Ну что? — спросил полковник.

— Действовал, как приказано: шет ли нужд, требуется ли помощь? А они в ответ: «Знаешь ты, что на поднастиле лежит?» Каюсь, — не знал. А они: «Так какая же нам от тебя помощь...» — Адъютант замолчал, обиженно надув по-детски пухлые губы.

— Что на поднастиле лежит? — сердито сказал полковник. — Надо бы догадаться — настия. Ну, ладно, раз шутят, значит, дело на мази.

— Может, и так, — сказал адъютант, — только я не видал, чтоб так дороги строили.

На другой день полковник сам поехал на место работы. Ничего похожего на то, что он привык считать дорожным строительством, он там не нашел. От сухой кромки берега разворачивалась болотная топь, не тронутая ни киркой, ни лопатой. Да разве и могла что поделаться кирка или лопата в этом зыбучем неверном грунте? Уж на то ли место он понал? Но вот из лесу показалась статная фигура Макара Савельича и двинулась к нему через болото. Полковник хотел было окриком предостеречь старика, но тот шел уверенно и спокойно по тибельной трясине, и было слышно, как вода хлюпала у него под ногами.

Был он худ, как весенний волк, и полковник озабоченно спросил:

— Вас что, не кормят здесь, что ли?

— Два раза на день кормят, и не как-нибудь — горячим. Что же раньше срока пожаловал, начальник?

— Да вот, хотел взглянуть, как дело идет, —

осторожно, чтобы не обидеть старика, сказал начальник.

— А тут и глядеть нечего, дорогу-то в лесу строят. Да вон ее и несут.

Из лесу вышли восемь стариков, держа на капатах, словно гроб на рушниках, деревянный плот, и опустили его на землю. За ними вышли еще восемь и к передку его приложили такой же плот. Затем двое начали скреплять плоты каким-то материалом.

— Эх, Макар Савельич, да ведь засосет эти пастилы, — с досадой сказал полковник. — Тут же топь невылазная.

— Верно, что топь, да только не там, где мы дорогу ведем. А ну, нагнись и погляди поверх травы, по самой по верхушечке. Что зришь?

— Траву вижу... зелень... — полковник вглядывался в зеленый травяной полог, по которому нежными волнами пробегал ветер.

— Острей гляди. Вся ли она зеленая, али где прожелть есть?

Полковник напряг зрение, и то ли ему показалось, то ли вправду увидел на сочной зыбучей зелени как бы тонкий желтоватый полог.

— Ну, вижу, — сказал он и отвел от травы заболевшие от натуги глаза.

— Так вот по прожелти этой узнается фальшивая топь. Кончики трав пожжены солнцем, значит влаги им меньше доходит. В болотной траве этого не бывает: там солнце, как ни жги, а весь его огонь во влаге погаснет, потому корень болотной травки в подпочвенной воде купается. А здесь корень травы в твердом грунте лежит, и влагой она беднее. Снаружи-то будто болотная трава, и почва одна — болото. А на деле-то земля только

поверху дождем намокла, а внутри твердый грунт. На нем упор строить можно. Пойдем до настилов.

Они двинулись к лесу. Полковник, несмотря на объяснения старика, ступал не очень уверенно: почва под его ногой колебалась и посвистывала.

Пять или шесть плотов лежали на земле, и полковник заметил, что они начали образовывать завиток, следуя за полосой, где пролегла трава, тронутая прожелтью.

Дерево в этих плотях было сколочено по косой, как и положено в дорожном деле. Плоты были набиты на толстые поперечные бревна и сами не касались земли. Старик выбрал травинку со смуглым кончиком и укрытой меж двух листочков жалкой горошиной-цветка, нащупал в почве ее корень и выдернул. Корень был похож на длинного белого червячка, сухой и раздвоенный на конце. Он приложил корень к поперечине бревна — толщина поперечины и длина корня совпадали.

— Чуешь? Вот этими поперечинами и обопрется дорога о твердый грунт.

— Понял, — полковник с уважением поглядел на старика.

— То-то и оно, — с гордостью сказал старик, — у нас вся природа навыворот.

— Воздух! — звонкий счастливым мальчишеский голос разорвал тишину. Голос шел откуда-то сверху, будто с дерева.

Полковник изумленно поднял голову.

— Это внучонок мой, — сказал старик, — наблюдатель.

Ноющий прерывистый звук со страшной быстротой выплыл из-за леса и обернулся бипланом «Хеншель». Он низко прошел над деревьями, почти касаясь их верхушек, и, развернувшись,

пошел над болотом. Он еще не успел завершить фигуру, как старики набросили на плоты зеленую травяную сеть.

Бомба упала метрах в трехстах от людей. Зеленый столб травы и воды, похожий на тополь, вырос на месте ее падения. Затем он разлетелся округ зелеными брызгами.

— Беспокойный, дьявол, — сказал старик, — каждый день прилетает. Все болото закидал. Видать, чует неладное, да не знает, где оно.

Самолет обронил еще одну бомбу и скрылся за деревьями. Над лесом он отцепил третью. Ухнуло расколотое бомбой дерево, вслед за тем послышались крики и соболезирующая ругань. На опушку выбежал старик с берестяным ведерком и побежал к реке.

— Что там, Данилыч?

— Деда Кондратенка волной шибануло.

Полковник с председателем быстро вошли в лес. Близ опаленного дерева лежал дед Кондратенков, потемневший, скучный. Над ним стояли старики.

— Душу из меня вышибло, — тяжело ворочая языком, объяснял дед Кондратенков, — пустой я стал... легкий... Видать, причина мне тут, ребятки.

— Поешь землицы, — посоветовал Макар Савельич. — Авось, потяжелеешь.

Деда Кондратенкова повернули на живот. Он прижался ртом к черной, влажной, развороченной взрывом земле.

— Без толку, ребятки, — сказал он, повернув к ним свое заострившееся потное лицо. — Савельич, я на пятой сажени жгут не закрепил... кабы не позабыли... В лесу правой ручья забирайте... там грунт даже крепкий...

— Об том не беспокойся, дед Кондратенков, — сказал Макар Савельич, — помирай спокойно.

— Да как же спокойным быть, Макарушка... народ-то молодой, балованный... — прошептал дед Кондратенков и вдруг есл. — Не могу я помирать в таком неустройстве. Дайте водицы.

Ему поднесли студеной речной водицы, он выпил трудными, шумными глотками и встал. Качнулся, словно на ветру, и, чуть наклонившись, упёрся своими кривыми, широко расставленными ногами в землю, словно врос в нее.

— Дай-ка мне скобу, Данилыч, — сказал, вздохнув, дед Кондратенков.

— Да... — раздумчиво сказал полковник, прощаясь с председателем, — вас понимать надо.

— Мы народ простой, — ответил председатель, — только для немца трудны оказались.

На тринадцатый день, когда солнце стояло в зените, позолотив столбы туманной пыли над болотом, в землянку полковника явился председатель колхоза и по-военному — грудь колесом — отрапортовал об окончании строительства болотной дороги. Полковник посадил старика в машину и повез в деревню.

В Любино-поле влились дымки оживших печей, дома стояли, залатанные разным материалом, обвязанные проволокой, снятой с затраченных. И полковник невольно подивился этой упрямой хозяйственной живучести русского человека, щедрого и жадного на жизнь. Старик собрал мир возле своей избы, и полковник сказал слово благодарности от частей Красной Армии, которые трудами любинопольских колхозников получили возможность наступательного движения на врага. Ответ держал дед Кондратенков.

— Нас благодарить не за что, потому — вы нас от неволи освободили. И хоть долгонько пришлось ждать, но мы есть перед вами неоплатные должники. Завсегда своей силы не пожалеем, если какая еще нужда будет. А наш зарок: окорачивайте вы его дюжей и обратно ни в каком случае не допускайте. А нужно будет: у нас тут, поди, полдеревни кавалеров с русско-японской...

А на утро следующего дня, когда первая колонна грузовиков, груженных боеприпасами, въехала на дорогу, она тяжело вздохнула, опустилась вровень с землей, отжав по краям влагу, и легла там прочно, навек.

Переводчик

Переводчик полз через небольшой перелесок. До командного пункта оставалось метров полтора-ста. Каждый шаг давался с трудом. Почва в лесу была болотистой, и после каждого движения под локтями и коленями возникали лунки желтой воды. А переводчик был не очень-то ловок, он с трудом вытаскивал руки и ноги из топкой хляби, но снова упорно полз.

Командный пункт накрыли немецкие минометы. То и дело слышался сухой шелест мин по веткам деревьев и короткий треск разрывов. И было слышно, как лопались тугие кленовые листья от осколков, и было видно, как на стволах возникали белые царапины. Но переводчик привык к этим вещам и только вбирал голову в плечи и полз вперед. Но все же он не так привык, как те связные, которые, чуть пригнувшись, сновали между деревьями.

Переводчик дополз до маленькой тропинки, отдышался и двинулся дальше, вдоль тропинки, чтобы не мешать бегущим по ней связным и бойцам. Впереди был большой пенек, от него косой впадалась в болотную яркую зелень полоска сухой, усыпанной хвоей земли. Переводчик торопился достичь суши. Его рука уже коснулась пня и

вдруг отдернулась, и неожиданно высоким голосом переводчик вскрикнул и испуганно попятился.

Один из пробежавших мимо связанных с удивлением оглянулся на переводчика. Тот дрожащей рукой указывал на пень и твердил:

— Змея, змея, я коснулась змеи!

На пне, свернувшись кольцом, лежал большой уж. Его весенняя серебристо-черная кожа сверкала, а брюхо было тускло-желтым. Связной увидел ужа и, несмотря на треск сыпавшихся по сторонам миа, захохотал.

— Та це ж вужака! — сказал он, давась от смеха, и тут только заметил, что переводчик — женщина. Он шагнул с дороги, ударом ноги отшвырнул ужа и побежал дальше.

Переводчик улыбнулся смущенно и поправил сбившуюся пилотку. Уж повис на кусте шатах в десяти. Он удивленно вытягивал бесконечную свою шею и двигал безвредным язычком, затем медленно, с достоинством пополз вниз...

Она заведывала кафедрой немецкого языка в институте иностранных языков. Однажды ее вызвал директор.

— Любовь Ивановна, нужен человек, в совершенстве владеющий немецким языком. Работа будет трудная. На фронте.

Она задумалась. Она гордилась своими учениками. Это были очень способные молодые люди. Взять хотя бы Нишу Костромину: за два года она сделала такие успехи, на которые Любови Ивановне в свое время потребовалось больше пяти лет. Но ведь директор сказал, что нужен человек, в совершенстве владеющий языком, а Ниша, при всей ее одаренности, не обладала безукоризненным произношением. Она слишком форсирует

«х» в начале слова и путает взрывное «б» с глухим «п». Сергей Владычин прекрасно говорит, но более силен в пассивном языке. Нет, они все овладевали языком быстро и напористо, со временем они будут его знать в совершенстве, но пока еще даже у лучших были свои крошечные недочеты. Она могла рекомендовать многих из них на любую работу, но ведь это фронт...

— Сергей Николаевич, считаете ли вы, что я в совершенстве владею немецким?

— Что за вопрос, Любовь Ивановна!

— Ну, так вот — поеду я, — сказала она твердо.

Директор молча уставился на нее, а затем решительно заявил, что она не девочка — это фраз, институт не может остаться без квалифицированного преподавателя — это два...

— Ну вот, поэтому я и поеду — это три, — сказала, улыбаясь, Любовь Ивановна.

Директор набрал воздуха для новых доводов, но вместо этого бросился пожимать ей руки.

... Вначале всё было трудно. Трудно было заворачивать портянку, так, чтобы она не сбивалась в комок, трудно было лежать под бомбами в придорожной канаве, трудно было забираться в грузовик, становясь на колесо и рывком перекидывая ногу через борт, трудно было вскакивать ночью и мчаться на машине куда-то, а затем до утра разбирать полустершиеся документы, среди которых лишь редко попадалось что-нибудь ценное. Очень многое было трудно пятидесятилетней женщине, которая не хотела ни единым жестом показать, что ей трудно, что она нуждается в помощи. Затем она сделала маленькое, но чрезвычайно важное для нее открытие! Лучше не стараться де-

лать все так же ловко и быстро, как мужчины, приспособливаться к своим возможностям. Оказалось, что в грузовик можно взобраться не только легким рывком, можно навалиться животом на борт и перекатиться в кузов — не очень красиво, но зато не задерживаешь машину. Оказалось, с бомб тоже можно спастись, не залезая в канаву — достаточно упасть где попало на землю, закрыть глаза и зажать уши. И когда встаешь — всё уже кончено, а ты цел. Оказалось, что по миным обстрелом необязательно двигаться вперед легкими перебежками, по слуху улавливая направление полета мины (всё равно не угадаешь), можно просто ползти, и пройдет сколько-то времени — и обязательно доползешь.

Ей казалось, что ей делают поблажки. Редко посылают на передовую допрашивать пленных, а ждут, когда их переведут во второй эшелон, и тогда только вызывают ее. Она пошла к начштаба и сказала:

— Я немолодая женщина, и здесь мне будет совсем трудно, если я буду думать, что не нужна.

С тех пор ее стали посылать всюду, куда требовало дело.

Она не могла научиться только одному: называть командиров по званию, она ко всем, даже к самому командующему, обращалась по имени и отчеству.

Она удивляла и трогала своей наивностью. Когда на деревню, где она временно остановилась, палетели три «Хенкеля» и в избе заплакал ребенок, она воскликнула:

— Что они делают! Здесь же дети!

Другой раз, когда командующий отчитывал адъютанта, она сказала:

— Вы лучше напишите ему всё это, Николай Анатольевич, а то он не запомнит.

Она ходила в галифе, тяжелых яловых сапогах и большой пилотке, которая лежала на ее прямых, с проседью, волосах, словно старомодная шляпа.

На участке одной из армий нашего фронта разгорелся первый летний бой. Немцы стремились вернуть крупный военный поселок, который служил им опорным пунктом и зимой был вырван из их рук. Им удалось оттеснить нас на окраину, но сами в поселке они не смогли укрепиться из-за шквального огня наших минометов и полковой артиллерии. Они бросали силы, не считаясь с потерями.

Наше командование приказало не отдавать поселка, чего бы это ни стоило. Утром третьего дня боя пришел запрос от командующего группой — вызвать срочно переводчика. Очевидно, были захвачены какие-то документы.

Любовь Ивановна выехала на командный пункт. Он находился на опушке леса, почти примыкавшей к военному городку. В этот день немцам удалось засесть командный пункт, и они обрушили на него минометный огонь. Любовь Ивановна стала пробираться к землянкам командного пункта.

Мины заставили ее ползти. Затем ее испугал уж. Она сказала себе, что нехорошо было останавливать бойца, который, верно, бежал по важному делу, и, поправив пилотку, поползла дальше. Мины свистели не переставая, первое острое чувство опасности прошло. Она больше не думала о том, что еще жива, ей казалось теперь, что мины вообще разрываются где-то там, где

нельзя ничего поразить. Но когда она приблизилась к землянкам командного пункта, она увидела, что трава словно прижудрена черной пудрой и земля изрыта неглубокими черными лунками. Вслед за тем с разных сторон послышался характерный треск, и пять или шесть мин разорвались совсем рядом. Осколки долго еще звенели и она увидела, как куст впереди нее сразу лишился всех листьев, и припала лицом к черной воняющей порохом траве. Мины рвались с ровными промежутками в две-три секунды: Когда она отняла лицо и попробовала дышать, ей показалось — воздуха нет. Была вопиющая, душная дымчатая масса, которая закладывала нос и горло, словно ватой. Она снова уткнулась лицом к земле. Трава тоже пахла порохом, но была влажной, и это дало ей облегчение. В промежутках между разрывами мин она слушала, как бьется на виске кровь, и думала, что она еще жива. И затем подумала, что, раз она жива, надо двигаться дальше, ее ждут, а она и так потратила много времени.

«Я все-таки старая женщина», — почему-то подумала она, поднялась и, растопырив руки, почти ничего не видя, побежала к землянке.

— Куда, стой! — окликнул часовой страшную фигуру в перекошечных ремнях, сбитой на нос пилотке, из-под которой торчали длинные серые волосы.

— Я переводчик, — сказала она, забыв пароль.

Какой-то человек за ее спиной сказал:

— Пропустите.

В землянку падал косой свет из узкого окошка, в луче кружились пылинки. В землянке было

много народу. — она не могла сказать, сколько, — люди входили и уходили. Из-за стола поднялся высокий плотный человек с расстегнутым воротничком на толстой красной шее.

— Переводчик? Вот скажите нам, что в сей бумажке нацарапано?

Он протянул ей смятый лист бумаги, в желтых пятнах крови и грязи.

— У нас тут есть «немцы». Вон комиссар даже стихи наизусть знает: ейн, цвей, дрей, фир, пионире хейсен-вир, — он захохотал, открыв большой рот, полный крепких неровных зубов. — А вот этих закорючек не видывал.

— Это готическая пропись, — сказала она и хотела добавить, что теперь в Германии, по приказу Гитлера, опять вернулись к готике, как в средние века, но в этот момент чей-то резкий голос крикнул:

— Огонь! — И вслед за тем всё закачалось и задрожало в землянке. Заплясали пылинки в луче. Посыпались комья земли.

— Огонь, огонь... огонь!.. — выбрасывал тот же голос, словно срывал злобу этим выкриком.

Раскаты перешли в сплошной гул. Она увидела человека, которому принадлежал голос. Он сидел на нарах, зажимая между ухом и плечом телефонную трубку. Морщась, выкрикивал он команду, в то время как его руки делали быстрые пометки в командирской книжке. Рядом с ним сидел другой человек — молодой, с темной дубленой кожей лица и странно белой бритой головой. Он тоже держал трубку и негромко настойчиво вызывал:

— Роза, роза, роза, говорит соловей, говорит соловей, слушай, роза!

«Соловей и роза», — подумала она, и ей стало смешно и как-то сразу привычно, даже уютно.

— Где я могу работать? — спросила она.

— Вот сюда, за столик, — сказал большой плотный человек, как она теперь поняла, — полковник.

Большими руками он разом снял со стола все лишнее: бумаги, чертежи, четвертинку спирта и стаканчики 45-миллиметровых снарядов, заменяющие рюмки. Затем он поставил консервную банку кверху допышком, насыпал немного сухого спирта и зажег.

— Ну, вот вам кабинет, — сказал он, улыбаясь.

Прищурившись и отстранив листок, как это делают все дальнзоркие люди, она разобрала первые слова:

— Во изменение приказа помер... — я не разберу, что тут — тринадцать или...

— Неважно, тринадцать. Дальше, — отрывисто сказал полковник, и в голосе его не было прежней мягкости, он звучал сухо, отрывисто.

— Во изменение приказа номер тринадцать отказать от прямого воздействия на Н и направить основной удар на МО, в стык между 22 И. Д. и 24 И. Д. для флангового обхвата. И. Д. — это, очевидно, инфантери дивизион — пехотная дивизия. Так ведь? — спросила она.

Но полковник не ответил. Одну секунду он стоял, наклонив голову с упрямыми шишками лба, пальцы, которыми он упирался в стол, побелели от силы нажима. Затем он повернулся к бритоголовому.

— Начсвязи, дай мне Болотова.

— Проект... проект... слушайте, говорит соловей... есть,— он протянул трубку полковнику.

— Болотов, слушай, удержи ребятишек. Не медли. Не пойдете, я говорю. Понятно? Что? Сейчас не пойдете. На стык брось всех собачек. Не упускай из виду. Пошли туда глазастых. Пусть смотрят. Сообщай каждые полчаса. Что? Говори ясней. Жалко, что зря готовились? Мне самому жалко. Держи связь с правым братом...

Любовь Ивановна слушала с удивлением. Сначала ей казалось, что он шутит, но полковник мало походил на шутящего человека, лицо его стало недобрым, и даже складки на шее озлились, и ей не верилось, что этот человек несколько минут назад так добродушно смеялся своей же шутке. Она не понимала его слов, но почувствовала, что виной тому строчка документа, которую она перевела, что в ней заключено что-то очень важное, от чего зависит, может быть, судьба этого боя. Немцы готовят сюрприз, который надо узнать и предупредить. Она заметила, что, когда полковник сказал: «выступать не будет», комиссар просыпал табак из скрученной папиросы. У нее появилось чувство вины: она внесла смуту в четкую работу этих людей.

— Понятно, комиссар? — спросил полковник. Комиссар кивнул головой. — Сидишь с товарищем переводчиком, будешь ему терминологично объяснять. Сейчас два, максимум в шесть перевод должен быть у меня.

Он сказал это комиссару, но Любовь Ивановна отнесла к себе и ответила.

— Есть.

Она взяла документ. Листок бумаги был испи-

сан торопливой рукой, запятнан кровью, размазанный на вид и ужасный в своей неразличности. Ей стало страшно. Она вынула слова, обмакнула перо в чернила — это были все знаменательные жесты, она чувствовала, что не имеет сил приступить к документу.

В уши настойчиво лезли голоса людей:

— Роза, роза, слушай, говорит соловей...

— Бондарин, вытягивай Тацюшу в лаптях. Держи огонь по тропке...

Ей представилась эта «Тацюша», большая пушка на колесах. Она постаралась выключиться из этого мира, представить, что она сидит в своем московском кабинете, но эта хитрость помогла ей только еще раз написать первую фразу.

В землянку то и дело заходили люди. Они все что-то возбужденно спрашивали полковника и, получив его ответ, мрачили лицами. Затем влетел высокий человек с бледным лицом и красивым, с горбинкой, носом. На лбу его висели крупные капли пота, плащ-палатка за плечами была изодрана в клочья, но глаза радостно блеснули. Он бросился на нары, вытащил огромный клетчатый платок и стал осушать темя, лоб и шею.

— Едва вылезли... Ох, и дали же нам, — говорил он, прерывая речь тяжелым дыханием. — Ну как, товарищ начальник, скоро дашь приказ выступать?

— Об этом пока забудь, Соркин, — ответил за полковника комиссар. — Болотов уже предупрежден... Тут такая морока получается!

— Да как же так, — с болью сказал Соркин, — я ребят на взводе второй день держу.

Наших десантников там погнули, ребята жгут — не дождутся за них ответить, а ты «забуди».

— Да куда ты атаковать будешь, — резко крикнул полковник, — ты знаешь — куда?

— Как, а разве есть изменения? — растерянно произнес Соркин.

— Вот то-то и оно, что «разве», — мягко добавил полковник.

Комиссар подсел к Соркину и начал тихо ему что-то объяснять. Тот осунулся, на его немолодом лице выступила, верно, за долгие дни и ночи скопленная, усталость. Только длинные, тонкие пальцы с прежней нервной силой терсбились мотию плащ-палатки.

Любовь Ивановне стало очень жалко этого бледного немолодого человека: так он огорчился. Она невольно поставила себя на его место и поняла, насколько трудно должно ему быть это твердое воловое напряжение, в котором он держал себя до момента прихода сюда. Она не всё понимала, из их разговоров ей было ясно одно: что-то произошло. И это «что-то» может сделать напрасными все их усилия, риск, гибель бойцов, о которых говорил Соркин. От нее ждут, чтобы она помогла обезвредить это «что-то», на ее плечи возложена часть их трудных усилий. Теперь ей не хотелось больше выключаться из этой среды, создавать себе искусственную обстановку. Она более не чувствовала себя пришлым человеком — пусть разговаривают люди, орет в трубку связист и ломаются мины за стеной, это ей более не мешает, напротив: собирает ее волю, ее внимание.

Она старалась разгадать строй почерка, которым был написан документ, чтобы его секретность

не мешала ей при дальнейшей работе. Надо было понять, как пишущий сокращает слова: какие буквы у него проскальзывают от скорописи, как он мешает готику и латинский, — ведь почти ни один немец не придерживается строгой готики. Это было необходимо для разгадки тех слов и даже целых фраз, которые оказались стертыми, размытыми, так что только след букв синел на бумаге. Документ был написан второпях, листок лежал на колене или фуражке, по краям пальцем карандаша слабел, и строки, съезжали.

Затем она стала разбирать попорченные места. Если даже поддадутся лишь отдельные слова, то это будет огромным облегчением; когда она подойдет к ним из контекста, они сразу вытянут за собой смысл всего темного места. Ей помогли огромный опыт работы над архивами, где нередко едва заметный значок скрывал целую повесть, и выработанная этим строгая интуиция. И она могла сказать сейчас, что эту работу не мог бы осилить никто из ее лучших учеников.

Комиссар уже долго с беспокойством следил за переводчиком. Он не мог понять, чего она крутит, вертит, чуть ли не нюхает этот листок и всё не приступает к работе.

— Успеем ли мы к сроку?

Она улыбнулась ему, как улыбалась своим юным ученикам, когда они слабели духом перед встающими на их пути трудностями, казавшимися им непреодолимыми.

Комиссар успокоился. Он привык к тому, что если боец говорил: «сделаю», то оно так и будет, а не иначе...

Луч, проникавший в узкий наклон окошка, сперва побелел, затем исчез вовсе, но окошко оставалось таким же светлым, только свет этот не рассеивался. За окошком лежала белая ленинградская почва.

Комиссар увидел, что щеки женщины поблекли, а тени под глазами обозначились еще сильнее.

— Не хотите ли немножко капель? — спросил комиссар. — Для бодрости.

— Каких капель? — не поняла она. — Валерьянки?

— Да нет, наших фронтовых. — Комиссар достал из-под стола четвертинку и напомнил стаканчики от 45-миллиметровых снарядов.

Ее удивило, как громко булькала жидкость. В землянке было необычайно тихо. Полковник сидел, согнувшись над картой. Начсвязи попрежнему находился у аппарата и проверял связь, но голос его звучал приглушенно. Люди входили и выходили, но все звуки были какими-то осторожными, вкрадчивыми. Была ночь. Но никто не спал, кроме высокого бледного человека — Соркина, который в неудобной позе, — одна нога подогнута, другая выброшена вперед, — опершись на локти, задремал на парах.

Комиссар подвинул ей стаканчик.

— Что вы, я никогда не пью вина, — сказала она, сильно покраснев, но все же выпила, поперхнулась и уронила стаканчик, машинально сделав испуганное движение, чтобы помешать ему разбиться.

— Молодцом, — сказал комиссар. — Продолжим.

— Продолжим, — сказала она, улыбаясь, не

зная чему и чувствуя ласковое тепло на сердце. — ФУС. А. Р. — фуссартиллерирегимент — это, повидимому, полк тяжелой артиллерии.

— Точно. Вы становитесь профессиональным военным человеком.

— Не совсем еще, вот что такое — Гел. Г. Кр Ваф. Эск?

— А-а,—эскадрон автомобилей повышенной проходимости. Так они и это предусмотрели. Добро! Придется им пожалеть о своей педантичности... Поехали дальше...

...Начальник автодесантной группы майор Соркин и знал, и не знал, что с ним происходит. Он помнил, что он разговаривал, спрашивал и отвечал на вопросы, помнил, как он прилег, но он не собирался спать. Он отчетливо слышал позывы связиста, слышал, как принесли обед, как комиссар кого-то спросил: «капель?» Слышал свое имя, хотел отозваться, но почему-то не смог. Верно, он все же спал, потому что вслед за этим перед ним снова встал иссеченный снарядами лес, танки «КВ», и он вместе с командиром отдирал с позеленевшей брони труп сержанта-десантника: убитого и потом сгоревшего на этом «КВ». И снова видел молодые и злые лица ребят под глубокими шлемами. И слышал свой голос:

— Потерпите... потерпите, ребята...

Затем долго и настойчиво в его ушах стоял свист пуль и медленный шорох мины. Затем он почувствовал, как его рвануло назад, когда мина пробила оттянутый ветром край плащ-палатки. Снова рвануло, и снова. И он едва успел подумать, что это уже сон, как открыл глаза и увидел, что это полевник трясет его за плечо.

Все в землянке были на ногах. Полковник был застегнут в ремни, которые проложили глубокие борозды в гимнастерке, облакавшей его полное тело.

— Начинается! — воскликнул Соркин, и сон мгновенно слетел с него. Он вскочил с нар и встал перед полковником.

— Начинается. Соркин, — сказал полковник. — Ну, слушай вкратце. Немчура решила нас палить. Они снимают все силы с городка и бросают их в стык между Болотовым и его левым соседом. Танки, мотопехоту и тяжелые самоходы. Здесь они оставляют группу прикрытия и несколько кочующих пушек, которые скоро пачнут палить. Хотят имитировать наступление, подпалашь? А тем временем они отрезают нас от левого соседа и заходят нам во фланг. Так они думали сделать. Мы думаем иначе. Мы даем им отсюда выйти и спокойно занимаем городок. Болотов сам переходит в наступление и перехватывает их у стыка, и тогда мы заходим им в тыл и зажимаем в клещи. Твоя задача — прорвать их линию между нами и Болотовым и занять господствующую высоту. Тогда им как — подкрепления ждать будет неоткуда. На высоте у них остатки восьмого егерского, два батальона «Фландрия», переброшенных вчера. Легкая артиллерия, три броневика...

— Откуда такие подробности? — не удержался Соркин.

— Так ведь не зря же у нас человек всю ночь спит. — сказал полковник, кивнув на пожилого женщину с некрасивым, помятым лицом и усталыми глазами.

Соркин вспомнил, что ему говорили о ней на-

кануне, понял, что эта женщина сделала большое дело, но был слишком захвачен предстением и не нашел хороших слов.

— Ну, я так понимаю, что опять «прида Болотову? — спросил он полковника.

— Точно. От него получишь подробную инструкцию. У тебя задача большая... молчу, молчу, — сказал полковник, заметив его петерпелый жест. — Ну, желаю.

Соркин сунул голову в шлем, отдал честь походкой двадцатилетнего мальчика, спешаще на свидание, вышел из землянки.

— Есть еще жизнь в старике, — усмехнулся комиссар.

— Дай мне Болотова, — сказал полковник нач связи.

— Болотов? — полковник помолчал, пожевал губами. — С богом, милый!

В трубке послышался треск. Полковник ничего не сказал, а только живнул головой несколько раз, махнул рукой и бросил трубку.

— Ну, Бондарин, слово за вашими батареями, — обратился полковник к седому капитану с биноклем на худой шее.

— Прикажете начать, товарищ полковник.

— Начидай.

Капитан повернулся на каблуках и выбежал из землянки.

Любовь Ивановна заметила, что в тоне и поведении этих людей, несмотря на внешнюю шутовскую, была какая-то торжественность. Они стали словно больше, и она ощутила невольную робость.

Она начала собирать словарь в свою попошепеную коленкоровую сумку. У нее чуть-чуть боле-

ли лобные пазухи и глаза покраснели: она это чувствовала по тому, как покалывало веко.

— Я пойду, — сказала она полковнику. — Мне ведь больше нет работы?

— Товарищ старшина, — сказал тот ординарцу, — проводите товарища переводчика к машине. — Затем улыбнулся той же доброй и мягкой улыбкой, как при ее приходе. — Спасибо вам за хороший труд, — и крепко, по-мужски, пожал ей руку и отдал честь.

— До свидания, Любовь Ивановна. Не забывайте, как мы с вами капель выпили, — сказал коммисар.

В сопровождении ординарца Любовь Ивановна вышла из землянки. Лес был наполнен легким сумраком, какой отделяет белую ночь от утреннего рассвета. Деревья стояли четкие и не отбрасывали теней. Немцы еще молчали, молчали и мы. Была та настороженная, шестойкая тишина, которая вот-вот оборвется в хаосе звуков. Где-то неуверенно попробовала голос личужка. Но загудели самолеты, и личужка смолкла, решив, что время для песни еще не настало.

Низко, низко над лесом прошла восьмерка «ЛАГГов». Деревья пропумели верхушками.

Любовь Ивановна шла за ординарцем, глядя себе под ноги. Она хуже видела в эту пору. Трава забрызгала росой ее сапоги. Лес посвежел к утру, и воздух очистился от порохового дыма.

Когда они приблизились к опушке, в лесу заухало. Задрожали листья, и холодный ток воздуха заставил ее поежиться.

— Дивизионная дает, — сказал ординарец.

Тишина разом лопнула. Воздух стал наполняться многими шумами.

— Началось, — сказал старшина и остано-
вился.

И Любовь Ивановна остановилась. Оча глядела в оставленную позати темноту леса, где начиналась страшная и нужная работа.

Лес занумел так, словно на него обрушился огромный гал и пригнул к земле кряжистые деревья. Под погой ощущалось дрожание почвы.

— «КВ» идут, — сказал старшина.

Танков не было видно, но лес ходил ходуном. Они были еще далеко, но казались совсем близкими, и странно и радостно было думать об этой огромной разогретой массе металла, прокладывающей путь на врага.

И вот, покрывая все шумы, слабый, как отдаленный шум морского прибоя, но такой же слышимый, вопреки всему, донесся, слитый в один, звук человеческих голосов.

— ...а-а-а!.. — неслоь по лесу.

— Болотовцы пошли! — крикнул старшина. — «Ура» кричат. Ах, милые!.. — Он скинул винтовку с плеча и латонью стал хлопать по ее черному, протыленному порохов, прикладу.

— У-у-у... а-а-а!.. — звоном высоко-высоко, словно девичий хор, текло по лесу.

Любовь Ивановна прижала руки к груди. Она слушала этот крик, и ей казалось, что вернулась ее лавния, но под шумом годов еще живая юность.

Все виденное и пережитое за сутки слилось в далеком крике, с которым люди шли умирать и побеждать.

— И моя доля там есть, — прошептала старая жепшина, едва не плача от сложного и большого, как сама жизнь, чувства...

Связист Васильев

— Прикажете, — сказал связист, полный, приземистый человек, и встал.

— Не лезьте вы, — грубо сказал начальник связи и повернулся к лежащему на нарах человеку с мотком провода на плече: — Товарищ Потапов, по насыпи оборвалась связь. Там всё пристреляно. Действуйте.

Потапов соскочил с нар, прихватил свой инструмент и вышел. Полный связист сел, достал из кармана чистый платок и стал вытирать мокрое лицо. Он только что вернулся из очередного, девятого за этот бой, «рейса» и был весь потный. Даже белый от прирелы, но бурый от грязи комбинезон, падаемый поверх формы, был пропитан потом.

Вытираясь, он вдруг заметил, что один его рукав распорот в пройме. Пуля прошла полмышкой. Он осмотрел всю остальную одежду. В ней было не меньше трех пробоин. Одна штанина висела ключьями. Он взял мотню и засунул под чулок. Он был в желтых горных ботинках и чулках.

— Пошупали вас, — сказал начальник связи, отрываясь от телефона.

Полный связист смущенно улыбнулся.

— Три смерти рядом прошли...

Это был трудный день для связистов. Связь обрывалась более десяти раз. Вначале ее порвали «КВ», выходявшие на рубеж атаки, затем обрывали немецкие спаряды, валившие столбы и деревья, через которые шла проволока. Было потеряно уже три человека к моменту, когда обрывалась связь в самом трудном месте — на железнодорожной насыпи, которая находилась под контролем немецких стрелков, засевших на опушке леса. Эта проводка соединяла командира полка с командиром передового отряда, ломавшего немецкую оборону. Связь оборвалась на самой насыпи, и первая попытка восстановить ее кончилась гибелью связиста. Он даже не успел взобраться на насыпь. Он выглянул из-за насыпи, чтобы припоровиться к месту, выглянул второй раз — и свик. Видимо, пуля поразила его в лоб. Он медленно сполз по снегу, цепляя землю мертвыми руками. Он и сейчас был виден с наблюдательного пункта. Раскорячившийся и как будто живой, он карабкался по насыпи.

— Товарищ начальник связи, — сказал боец, заглядывая в землянку, — Потапов у насыпи.

Начальник связи откашлялся и, словно пробуя голос, тихонько начал звать:

— Роза... роза... говорит пурга... слушай, говорит пурга...

Я вышел из землянки. Командир полка и политрук в бинокли следили за движениями связиста. Всё произошло очень быстро и просто. Он вскарабкался на насыпь, пополз, делая сильные движения руками и волоча погп, чтобы тело не поднималось над землей. Затем он почему-то перестал делать движения и лежал совсем тихо. Я поймал себя на том, что говорю: «Ну же!», но

связист лежал тихо, и я не сразу понял, когда полнотрук, отняв бинокль от глаз, проговорил:

— Готов, — и стал скручивать первыми движениями папиросу.

Вслед за командиром полка я вернулся в землянку.

— Так будет связь или нет, товарищ старший лейтенант? — резко сказал командир полка.

Начальник связи растерянно поглядел на него.

Командир полка ждал. Начальник связи колебался.

— Товарищ Васильев, — сказал он тихо. — По насыпи оборвалась связь... — и отвернулся к стене.

Полный связист вскочил, взял шлем двумя руками, поправил войлочный обруч и надел шлем на голову.

— Жаль Потапова... — говорил он самому себе, в то время как его быстрые полные руки проверяли обмундирование, пояс с инструментом, моток проволоки и кобуру. — Хорший был человек, хоть и неженатый...

Когда начальник связи назвал имя полного связиста, я понял, почему он с такой неохотой отдавал приказание. Васильев был лучшим связистом дивизии, «королем связи», как его называли, и понятно, что послать такого человека на место, где только что сложили свои головы двое, после трудных потерь всего дня, было делом не легким.

Несмотря на свое плотное, даже тучное тело, Васильев двигался легко и ловко. В его движениях чувствовалась большая мышечная сила. Ощупав себя еще раз руками, — всё ли на месте, — он вышел из землянки.

Короткими перебежками он покрывал местность от наблюдательного пункта до железнодорожной насыпи. Резкий бросок — и затем плашмя на землю. Он был уже довольно близко от насыпи, когда, после очередного падения, он не поднялся, а только слегка повернул голову набок.

— Ранен он, что ли? — вслух подумал политрук.

Васильев чуть-чуть приподнял голову, и мы увидели зайчик, блеснувший на его шлеме. Чего он не двигается дальше? Мы были слишком далеко, чтобы видеть закономерность его движений. Мы не понимали, что удерживает его на месте.

Политрук указал на белые, ставшие заметными благодаря пологим солнечным лучам вихорьки, столбики, которые то и дело возникали вокруг него. Это разрывались пули автоматчиков, нащупывая его тело. Васильев пополз назад. Он полз задом наперед, отталкиваясь руками, затем быстро, по-пластунски, в сторону. Мы не понимали его движений, но невольно чувствовали в них смысл. Вот он оказался под прикрытием большой сосны, полуприсел — и по его спине мы видели, что его руки что-то работают. Затем он поднялся во весь рост, размахнулся и метнул какой-то невидимый предмет в сторону насыпи.

— Катюшка с проводом, — сказал командир полка.

Теперь мне становился ясен его простой и умный план. Он отказался от попытки соединить провод на месте его разрыва, на полотне, представлявшем из себя мишень для немецких пуль. Он присоединил конец провода, намотанного на

катушку, к поврежденному проводу, а самую катушку перекинул через насыпь. Если ему теперь удастся благополучно перелезть через нее, дело выиграно — та сторона насыпи, хоть и ближе расположенная к немцам, более безопасна, потому что прикрыта кустарником.

А Васильев полз дальше в сторону. Он отдался метров на двести, всё время озираясь на проводку, затем взял на насыпь. У него был хороший шанс. Если его сейчас не откроют, то появление его на насыпи в том месте будет для немцев неожиданностью. Только удастся ли ему все-таки проползти?..

Васильев — у края насыпи. Он лежит некоторое мгновение тихо, не то прислушиваясь, не то отдыхая. И невольно задерживаю дыхание. Вот сейчас он поднимет голову, — вспыхнет или не вспыхнет пыльный столбик разрыва? Но совершенно неожиданно Васильев рывком выбрасывается из-за края насыпи на самое полотно. Он и не думает скрываться. Наоборот, словно желая привлечь к себе внимание, он делает странные движения — прыгает из стороны в сторону, плашмя ложится на землю, катится к противоположному краю и скрывается там.

Дымок от пуль, высвеченный солнцем, стоит над тем местом, где только что был человек. Простой и точный расчет — ведь ждал же я, что Васильев будет перебираться с медлительной осмотрительностью, прицеливаясь взглядом к узенькой, но такой страшной площади, которую ему предстояло преодолеть. Этого ждали и немцы, именно это и дало им возможность погубить двух наших связистов. Неожиданный открытый рывок Васильева дезориентировал их. Всё про-

изошло слишком внезапно и быстро, они не успели прицелиться. Но действительно ли они не успели? Ведь мы не знали, что скатилось на ту сторону: человек или труп? И снова минуты мучительного ожидания. Потом стало как-то очень тихо. Только глуховатый, с трещиной дисканта, голос начальника связи бубнил в землянке:

— Роза... роза... говорит пурга... слушай, роза... роза... — и мне казалось, что я тоже слышу это тупое молчание трубки.

— Роза... роза... говорит пурга...

Раздался звук лопнувшей гитарной струны — где-то близко срикошетила о ствол пуля.

— За обедом итти? — спросил ординарец и, не получив ответа, сказал: — Чего ж итти, еще успеется.

— Роза... роза... говорит пурга... Розочка! — заорал вдруг начальник связи, и мы все бросились к землянке, разом поняв, что это означает — спасенная человеческая жизнь. — Розочка, что же ты, сукина дочь, молчишь?..

Но уже командир полка вырвал у него трубку.

— Андреев? Давай хозяинна. Ну, как двигаешься? Ага? Что? Левый бочок болит? Мы туда Танюшу в лаптях движем. Так. Младший брат собачек выдвинет. Всё? Продолжай смелей. За левый бок не опасайся. Действуй!

Закончив разговор, командир полка сказал:

— Чистая работа, — и хоть это было всё, помы поняли, к кому это относится.

Я подумал, что если бы Васильев слышал сейчас это простое определение, он был бы доволен. То, что он сделал, нельзя назвать подвигом: в его работе был строгий и точный расчет, но этим она и была прекрасна. Когда он смело риск-

дул жизнью, это тоже был расчет: иначе он не довел бы работу до конца. Под пулями он вел себя как рачительный, умный хозяин своего тела, жизни и силы. Это была настоящая боевая работа, т. е. работа самого высокого класса.

В землянку Васильев вернулся часа через два. Оказывается, он следил, чтобы не произошло новой аварии с проводом. Затем наши ворвались на опушку и стали уничтожать немецких автоматчиков. Тогда он, не желая подвергать напрасному риску свою жизнь, переждал, когда их огонь убрался с насыпи.

...День клонился к закату. Наступил такой момент боя, когда еще гремят выстрелы, когда жизнь многих людей только вступает в борьбу со смертью, но уже ясно, что судьба боя решена. Еще надо много усилий, чтоб в последний момент не выпустить этого успеха, не дать врагу отделаться полбедой. Непосредственные участники боя еще не верят в сделанное ими, но на наблюдательном пункте уже ясно, что тяжкие усилия, жертвы, пот и кровь товарищей были не напрасны.

Мы сидели в землянке. Васильев, вытирая лицо и шею клетчатым носовым платком, рассказывал:

— Вчера получил письма от жены. Три месяца не получал ни одного. Я за нее не беспокоился — она женщина умная, сознательная. Но все же тяжело было... А вчера сразу одиннадцать штук. Я их расположил по числам, десять прочел, а одно, последнее, на после боя оставил. Гостинец мне будет.

Он снял шлем и достал из-за войлочного обруча измятый по углам конверт. Разгладил его

и посмотрел на свет. Строчки письма просвечивали, бледные и перевернутые.

— Васильев. — сказал вдруг начальник связи отрываясь от трубки, — ты лучше прочти свое письмо, а то, кажется, тебе опять придется идти — «замок» не работает.

Васильев улыбнулся и аккуратно спрятал письмо за войлочный обруч.

— Письмо я после работы прочту, — сказал он спокойно. — Ну как, «замочек» молчит, товарищ старший лейтенант?

— Молчит, что б ему!.. Придется чинить.

— Прикажете, — сказал связист.

Последний штурм

По ровной земле, на сухом, давнем снегу перемещались тени: то ли их отбрасывали короткие плотные облака, то ли это стелился дым с окрестных пожарищ. Из-за холма медленно возникло холодное, негреющее солнце.

— Утро последнего штурма, — почему-то вслух произнес человек с широким сильным лицом, в резких, толстых складках на лбу и вокруг рта. Он сидел в машине и глядел в затуманенное стекло.

— Слушаю, товарищ генерал-полковник! — машинально откликнулся дремлющий в углу адъютант.

Генерал насмешливо поглядел на него. Адъютант уже опять спал.

Генерал достал из кармана большую черную трубку с золотым ободком на мундштуке, набил ее солдатской махоркой и задымил. Усталость бессонной ночи отошла от глаз, и оттого ему показалось, что все окружающее вдруг поспежело.

Вперед, на краю горизонта, мелькнул городок, — последний опорный пункт последних остатков окруженной и уничтоженной немецкой группировки, — и скрылся за складкой местности. Машина спустилась в балку, пересекла незамерз-

ний ручей, с ходу взяла подъем и очутилась в черной неглубокой щели. Командный пункт.

Генерал грузно вылез из машины. Навстречу ему спешил генерал-майор артиллерии, которому он поручил этот последний, завершающий штурм. Папыха его была сбита на затылок, глаза радостно блестели, свободный легкий шаг, овеваемый плещущейся по ветру шинелью, сообщал ее движениям стремительность и полет.

— Горишь? — с любовной насмешливостью сказал большой генерал, протягивая ему руку. — Смотри — не сгори, ты мне еще пригодись.

Большой генерал любил этого артиллериста. В свое время сердцем и верным чутьем он выбрал его из многих, отличил и представил к повышению в звании.

Это было ранней осенью сорок второго года. После пятнадцати дней жестоких боев его части оставляла город. Таков был приказ верховного командования. Люди с болью отодрали руки от пулеметов и винтовок и сели в грузовики. Артиллеристы взобрались на лафеты орудий. Черная в грязи и крови, армия двинулась осенней гулкой дорогой на восток.

Те, кто ехал в машинах, спали, навалившись друг на дружку, те, кто брел пешком, понурили головы, словно не могли оторвать взгляда от земли, уходившей на запад из-под натруженных ног. Генерал стоял у обочины и глядел на свое отходящее войско. Скоро последние части вышли из города, затем прошли оставшие и те легко раненные, которых не вместили санитарные машины. Генерал остановил штабной грузовик и посадил туда раненых. Последними вышли из города минеры. Генералу казалось, что он ви-

дигт во влажной мутной дали немецкие колонны, входящие в город. Адъютант напомнил, что надо ехать. Но генерал всё стоял и смотрел. И когда он уже шагнул к машине, из города на тяжелом артиллерийском коне вылетел подполковник с рукой на черной перевязи. Лицо его было искажено болью и злобой. Он не заметил, даже не взглянул на генерала. Он повернулся в седле и с отчаянной, бессильной яростью разрядил пистолет в наволгую городскую муть. Вытянул коня плетью. Конь перебрал погами с мохнатыми бабками и пошел крупной рысью. Но всадник снова рванул мундштук, конь, занеся круп в сторону, встал, тяжело вздрагивая. Подполковник соскочил с коня, захватил горсть земли, завернул в платок и сунул за пазуху. Он быстро исчез вдаль, но цокот копыт его тяжелого коня долго еще был слышен. И странно, горечь поражения перестала мучить генерала. Адъютант удивился, услышав, что генерал пасвистывает какой-то марш.

Позже он разыскал этого подполковника. Горсть земли у него на груди обратилась в серый прах. Но его память неизменно хранила горечь поражения. Он ждал своего часа, он был почти болен ненавистью, дремающей, неугасимой. Большой генерал имел возможность узнать его ближе. Сквозь страстность война он разглядел сильную, расчетливую, зрелую волю. Ему он и поручил этот последний, завершающий штурм...

Они спустились в траншею. Большой генерал отказался от приглашения зайти в блиндаж. Какое-то широкое и полное чувство жизни, владевшее им последние, победные недели, влекло его сейчас на простор, на волю. Сам он объяснял

это тем, что усталые, натруженные глаза отходили таким образом от мелкого, кропотливого почерка стратегических карт. Солнце уже прочно утвердилось на небе. Оно припрело землю, и запахи земли чуть приметно доносились из-под снега. Это значило, что на ступи уже первым дыханием дохнула весна. Мягкий утренний свет заполнил простор. Теперь явственно стала видна черная полоска, пересекавшая поле. — наш передний край, за ним городок, в котором засели последние немцы, и дальше — белый, снежный простор, где на большие версты уже не было ни наших, ни немцев. Вот она, эта родная земля, которую он не одну бессонную ночь читал по бумажной карте. Какая она милая и тихая...

Из блиндажа доносился голос генерала артиллерии, отдававшего последние приказания, что-то настойчиво бубнил в телесфон офицер связи, адъютанты сповали по траншее, вжимаясь в стенку, когда им надо было пройти мимо него. Ему вдруг показалось, что вся эта деловая суетня уже совсем ни к чему, все уже решено, и никто и ничто не изменит и не задержит predeterminedного хода вещей. Далеко задуманный план верховного командования, который он осуществлял, по окружению и ликвидации немецкой группировки был приведен к завершающему этапу. В этом плане, задуманном там, в Кремле, была такая умственная мощь и такой глубокий, всесторонний расчет, что сила и точность этого последнего удара была как бы предрешена испрцией всех предшествующих ударов.

Конечно, он знал, что этот последний штурм будет не легким, что он потребует много страстных усилий от каждого бойца, много крови, много

жизней. Но он знал также, что этот штурм будет последним, что неудачи быть не может. Длительным большим страданием, нечеловеческим терпением, проделав безмерные воинские труды, пришли его люди к этой минуте. И он знал, что за эту минуту каждый, не задумываясь, отдаст жизнь.

— Разрешите начинать? — услышал он голос генерала артиллерии.

Большой генерал посмотрел на его красивое, чуть смуглое от зимнего загара, худое лицо, перевел взгляд на белое и такое тихое сейчас поле, на молчаливый городок вдаль, где враг ожидал своей участи, шожевал губами и негромко сказал:

— Что ж...

Первый залп, рванувшийся вдаль, был дружен и строен и порадовал ухо, как чистая музыкальная фраза. Одна за другой вступали мощные батареи, как голоса в хор, затем гармония стала быстро разрушаться, залпы пошли вразброд, утратив всякую музыкальную логику, но стремительно и страшно нарастая в силе. Бревна, кирпич, куски железа взлетали над городком и неслышно в окружающем грохоте рушились вниз. Видя, как умно и расчетливо расположены батареи, как плотно ложится огонь, накрывая каждый метр с точностью, выверенной ненавистью, большой генерал еще раз подумал, что не ошибся в человеке, которому поручил этот штурм.

Но, когда взвилась зеленая ракета, извещавшая о начале атаки, и из-за бруствера показалась голова первого пехотинца, плотность и сила огня, действительно невиданные, перестали удовлетворять большого генерала.

«Поплотнее, поплотнее огонек! дай», — то и дело говорил он про себя, мысленно обращаясь к генералу артиллерии.

И словно генерал артиллерии слышал его.

— Не жалеть огня! — нетерпеливо кричал он, пока звук его голоса не растворился без остатка в неимоверно возросшем грохоте канонады.

Большой генерал страстно любил пехоту. Он знал великую цену всем родам оружия, но сердцем был предан пехоте. Он любил пехоту потому, что сам прошел длинный путь от рядового пехотинца до генерала, потому что знал ее тяжкий, горький и томительный труд, потому что знал, что прикованный к земле, измерзший, наломанный сырыми солдатскими ночками пехотинец несет на себе главную тяжесть войны и что он, маленький пехотинец из теплой человеческой плоти, способен противостоять и огню лунек, и железу танков, и яростной воздушной бомбежке, а потом встанет во весь рост и сквозь огонь ринется брать — и возьмет! — любую неприступную крепость.

И остальные роды оружия он уже любил как бы через пехоту, поскольку они облегчают труд пехотинца.

Неуклюже, но быстро выбрасывали бойцы свои тела из-за бруствера и бежали по полю. Они проваливались в снег, и бег их издали казался медленным. Но в косых лучах низкого солнца генерал видел парок, стывший над головами людей: это было их разгоряченное дыхание. Многие шли в атаку в одних гимнастерках.

— Хорошо, детки, хорошо, — с нежностью шептал генерал.

Все больше и больше бойцов выскакивало из-за брустверов. Вот уже снег пестрит черными силуэтами, чернота все прибывает, сливается в пятна, и пятна неудержимо растут, образуя лавину, которая — в развороте пространства — не слишком быстро, но неудержимо несется вперед. И тут послышалось отраженное простором, заглушая треск и гул пальбы, могучее «ура».

Горячий толчок крови, шедший откуда-то из самой глубины его существа, заставил генерала податься вперед, до боли напряжились мускулы, и он как бы застыл в этой стремящейся позе, и счастливые слезы навернулись ему на глаза.

— Милые мои... милые... — безотчетно шептались он.

Когда наши бойцы достигли проволочных заграждений, частью сметенных артиллерией, частью уцелевших, немцы опомнились и хлестнули огнем. Но цепи продолжали бежать вперед, не теряя ни темпа, ни напряжения, словно немцы били по верх или в холостую. Это было верным признаком правильно организованного боя. Генерал считал, что в правильном бою простой солдат столь же отчетливо представляет себе весь смысл действий, как и сам командующий. И тогда он не боится смерти и даже не думает о том, что может погибнуть. Он делает свое дело...

Генерал выбрал одного бойца и стал следить за ним. Как умно и расчетливо продвигается он вперед! Он не пренебрегает естественными укрытиями, которые дает местность, и смело бежит во весь рост, если укрытий на пути нет. Генерал не мог уловить на таком большом расстоянии закономерности всех его движений, но nevertheless чувствовал в них смысл, потому что боеп

жил и настойчиво протвигался вперед, несмотря на все возрастающую энергию вражеского огня. Вот он добежал до проволочного заграждения. Как он поступит? Начнет резать проволоку или полезет под нее? Но вместо того боец на ходу скидывает полшубок, швыряет его на проволоку и по настилу перемахивает на ту сторону. И многие поступают так же.

Но вот крайний правый фланг атакующей цепи генералу не нравится. Бойцы там шоотстали. Они слишком часто залезают, а то их вдруг, словно ветром, относит в сторону полосой. Этого не должно быть, ведь на них приходится та же сила огня, что и на товарищей, уже преодолевших заграждение и штурмующих окраину. Бойцы правого фланга чем-то смущены. Трудно на таком расстоянии уловить, чем именно, но они явно выпадают из ритма боя.

Генерал-полковник приказал проходившему связному вызвать из блиндажа генерала артиллерии.

— Что у тебя там справа? — он указал на груды каких-то развалин, неясно темневших вдалеке.

— Бывшая водокачка. Под нашим контролем.

— Ты уверен?.. — начал большой генерал, взглядываясь в пехорошо, неуверенно бегущих бойцов на крайнем правом фланге, и, вдруг оборвав себя, твердо сказал: — Там немцы. Дай по водокачке.

— Слушаюсь, — удивленно сказал генерал артиллерии. — Но, право, это невозможно...

Через минуту на пригорок выехали две самоходных пушки и подняли на воздух остатки водо-

качки. А еще через несколько минут правый фланг дружно ринулся вперед, догоняя товарищей.

— Невозможное — тоже фактор боя, и притом не из последних, — сказал, улыбаясь, большой генерал и положил руку на плечо артиллериста, чтобы подсластить пилюлю.

Артиллерия смолкла, чтобы не поразить своих, уже достигших городка.

Настала короткая пауза. Секунды абсолютной, оглушающей тишины. Казалось, что кто-то огромный, вобравший в себя всё — и грохот артиллерии, и высокое звонкое «ура», и стук каждого сердца, — переводил дыхание для последнего свертывания. Такой странный и необъяснимый провал тишины, длящийся всего несколько мгновений, бывает в каждом бою. Генерал услышал, как ветер шарахнул по снегу и срикошетила пуля, жалобно и тонко. И он невольно тоже вобрал воздух. И тут, захлебнувшись, ударили пулеметы, охнул мимолетно, и уже не с «ура», а с каким-то насаженным, первородным криком, падая, тут же подымаясь, цепляясь за камни и за деревья, люли рвакулись к сердцу вражеской обороны, к центральным строениям городка.

Генерал выдохнул воздух, утер со лба остуженный ветром пот и тут только заметил, что генерал артиллерии стоит рядом с ним и напряженно вглядывается в бинокль, вжав его в самые глазницы.

— Чего смотришь, — сказал большой генерал, — разве не видишь — конец?..

Генерал артиллерии отвел бинокль.

— То-то, что конец, — сказал он хмуро, и на его худом страстном лице задрожал какой-то тон-

кий мускул. — Не разгуляться солдатской душе...

— Дай срок, такие ли еще дела пойдут! — и большой генерал взял из его рук бинокль.

Да, это был конец. Наши бойцы еще не успели достигнуть вражеских блиндажей, опоясавших сильно укрепленный центр городка, как из переднего блиндажа вылез длинный немец, размахивая грязной белой тряпкой, укрепленной на стволе автомата. И, словно по уговору, из всех блиндажей и подвалов, подобные привидениям, выросли фигуры с высоко поднятыми руками. Из двух-трех подвалов раздалась было стрельба, но ее тут же потушили грабатами.

Вскоре на командный пункт была передана телефонограмма, что взят в плен командующий вражеской группой со всем своим штабом.

Большой генерал накинул плащ-палатку, поднял кашюшон, затянул ее на шею и плечах и зашагал через поле к городку. С последним разрывом гранаты, брошенной сейчас бойцом в последний, еще не залушенный вражеский блиндаж, отшумела великая победная битва многих недель. И ему захотелось простыми глазами, как бы со стороны, взглянуть на поле недавнего боя, завершившего страстные слитные усилия сотен тысяч русских воинов.

Из-под снега, вытоптанного наступавшими бойцами, проглянули желтые мертвые травы. Земля лежала тихая и усталая, присыпанная остывшим железом, покрытая еще теплыми телами убитых бойцов. Близ проволочного заграждения лежал наш мертвый боец. Слег подтаял под ним от последнего тепла его тела, и он лежал на черной земле, обняв ее широко раскинутыми руками.

Человек этот отдал жизнь за родину, и чувство, владевшее им в последний момент перед кончиной, сохранилось на его немолодом терпеливом лице труженника и солдата. И таким хорошим и родным показалось генералу это мертвое лицо, что он пружно опустился на колени перед бойцом. Не мог генерал проститься с каждым, polegшим на этом поле чести, но с одним бойцом он простился с суровой мужской нежностью.

При входе в городок часовой окликнул его, генерал назвал пропуск и прошел неузнанный. По разбитой, развороченной улице, низко опустив головы, словно вослед гробу, медленно шествовала в цепи красноармейцев группа немецких офицеров. Генерал отошел в сторону и с острым любопытством остановился взглядом на высоком худом человеке, с четким профилем, в черном измятом клеенчатом плаще. Это был командующий немецкой группой. Он бросал на гибель одну за другой части своей армии, по мере того как наши войска уничтожали их, и наконец, как зверь на облаве, был захвачен в этом последнем очаге сопротивления!

Сколько раз большой генерал мечтал о той минуте, когда он сломит волю и силу этого старого, опытного, беспощадного человека, на боевом поле опровергнет концепцию, гнилая основа которой была с удивительной прозорливостью разоблачена тем, кто видит всё раньше всех и глубже всех. Он мечтал об этой встрече короткими летними днями, когда его запыленные части уходили под натиском превосходящих сил этого генерала, он мечтал об этом, когда с горсткой людей, — всё, что оставалось от первой вверенной ему дивизии, — дрался в окруженном городе на

Днешре. Этот генерал не мог его победить, но он заставлял его отступать. Он, верно, торжествовал, видя горькую пыль, клубящуюся позади отступающих частей. Жестоко требовательный к себе, большой генерал иной раз старался убедить себя, что он подавлен не превосходящими силами а превосходным талантом, более глубокой и стройной военной концепцией. Он мучил себя, выискивая свои ошибки, стараясь определить, в чем же преимущество этого человека.

И вот прозвучал спокойный и уверенный голос вождя, словно подытоживший его собственные боевой опыт. Да, концепция немецкого генералитета, в сущности, примитивна и незначительна и базируется она на временном материальном превосходстве и на нескольких связанных с этим схематических предпосылках. Ничего не было в этой концепции, кроме грубого расчета материальных сил. Ей было чуждо всё, что уходит корнями в бескорыстие народного духа, и лишь преходящие обстоятельства сообщали ей характер грозной и неумолимой силы. И он с замиранием сердца думал о той преуказанной вождем поре, когда ему дано будет сразиться с этим человеком равным оружием. Теперь он уже твердо знал, что такая минута наступит, не может не наступить. Но никогда не приходило ему на мысль, что триумф может быть настолько полным и пайдет завершение в личной катастрофе этого человека.

Группа пленных скрылась за поворотом. Вечерело. Синеватый сумрак скрапывал картину разрушений, придавая изуродованным зданиям благородство древних руин. Большая толпа немецких солдат заняла мостовую. Они едва волочили ноги, обутые в плохую, непрочную обувь, края пилоток

были оттянуты на уши, лица измождены, кости скул, туго обтянутые кожей, как бы подпирали глаза, резко выдававшиеся из орбит. Шинели болтались на отощавших фигурах. Они шли по-нуро, вразброд, испуганно шарахаясь от окриков охраны, как люди, долго жившие на пределе страха.

Генерал прислушался, как два наших бойца оценивали это шествие.

— Если б я, дядя Мить, раньше живого фрица видел, я бы не так еще долбал, — говорил веселущатый парсnek в глубоком, до самого носа, шлеме. — Я-то думал: он герой-солдат, а это что... кизяк! В другой раз я безо всякого страха на него пойду.

— Безо всякого нельзя, — говорил его товарищ, — как генерал сразу определил, — старый, матерый солдат: худой, стройный, в порванном полушубке и с чистым блестящим оружием за плечом. — Солдат должен себя беречь...

— Да как же! — ухмыльнулся шарнишка. — Видел я, как вы себя берегли, когда через проволоку кипулись.

— Я — дело другое. Уж такая закалка — меня фрицева пуля не может взять, — вполне серьезно сказал солдат.

И это прозвучало так убедительно, что генералу подумалось: может, и в самом деле такого вот умного, бывалого, стреляного солдата не взять глупой немецкой пуле.

Большой генерал счастливо улыбнулся: он вспомнил свой разговор с генералом артиллерии.

Когда толпа пленных, выравненная охраной, сползла с тротуара, генерал двинулся вслед за ней. Впереди, на пути пленных, была ледяная

горка. Ее залили немцы. Теперь им приходилось спускаться с нее. Генерала поразило, до чего неуклюже и неумно они это делали: сажались в дом на лед и съезжали вниз, продирая шипами корябая скрюченными пальцами об лед и сваливаясь у подножья в безобразную кучу. Слышались жалобная и злая гортанная ругань. Генерал вспомнил, как брали наши бойцы подобную же горку снизу вверх под огнем немцев. И хотя это было бесконечно труднее, — насколько экономнее и умней были их движения. И словно в подтверждение его мысли, сверху стал спускаться наш боец. Он стоял во весь рост на обрывке железа, которого вокруг было накинато в досталь, и, быстро, ловко лавируя среди немцев, съезжал вниз.

— Фриц, он почему, спрашивается, раньше из блиндажа не выходил? — услышал генерал густой неторопливый голос. — С него офицеры штаны сняли, он не мог убежать...

«Как это здорово и верно, — подумал генерал, — ведь боец хотел этим сказать, что не от свободной силы души сидели здесь немцы, сопротивляясь нашему натиску. В сущности, он сказал о немецких солдатах то, что я сам думал о немецком генерале...»

И ему стало удивительно радостно это единство чувства и мысли, которое было между ним, генералом, и любимым из солдат.

Поздно вечером, когда бойцы, усевшись возле каганцов, готовили ужин и, отплеываясь, курили трофейные сигареты, генерал направился к временному зданию штаба. Всё виденное, продуманное, пережитое за этот долгий, большой, счастливый день доверху заполнило душу. В штабе, в небольшой комнатке полуразрушенного дома,

За столом сидел генерал артиллерии, склонив голову на руки.

— Отдыхаешь? — сказал большой генерал, освобождаясь от плащ-палатки. — Небось, впервые за все недели...

Генерал артиллерии, потревоженный в глубоком раздумьи, резко поднял голову, и на его лице задрожал какой-то тонкий мускул.

— Нет, я думал. Ведь какая победа! Целая армия, поверженная до последнего человека... генералы со штабами... командующий!..

Большой генерал положил ему руку на плечо:

— Да, победа, — сказал он спокойно. — Большая победа. Мы не только разгромили армию. Мы убили концепцию. Наповал. Это знают теперь все. До самого молоденького бэйца, истратившего первую пулю.

Пехотинец

В небольшом тесном блиндаже сидели бойцы стрелкового взвода. Был вечер, люди покуривали, готовили ужин или дремали — кто что хотел.

— А правда, Егор Иванович, что мы скоро немцу наперекор, вперед пойдем? — спросил молоденький боец Ракиткин, размешивая деревянной ложкой гороховый суп, варившийся на каганце.

Тот, к кому он обращался, был сухощавый человек лет тридцати пяти, с острым лицом и загорелой морщинистой шеей, по фамилии Кошеванов. Он полулежал на шинели перед огнем и кончиком кривого ножа прочищал берзовый мунштук. Кошеванов хмуро глянул на Ракиткина и ответил коротко:

— Не беречь ты мне душу...

— Нет, правда, Егор Иванович? Я утром в минометном был, там все ребята в один голос говорят.

— Языками чешут, как старые бабы, — сказал Кошеванов, — и ты с ними. Лучше бы за супом смотрел, а то враз спортишь.

Ракиткин сильно покраснел и продолжал молча болтать ложкой в супе.

— Наступление... — ворчал Кошеванов, воро-

чаясь с боку на бок, — это тебе не ложку гороха глотнуть.

Кошеванов понимал, что эти разговоры порождает простая и сильная тоска пехотинцев, их телесная мечта о той могучей свободе, которую обретает пехотинец в наступлении, когда он встает во весь рост, когда пропадает всякий страх, раздумье и всё делается легко.

Кошеванов подложил руку под голову, закрыл глаза и попробовал задремать. Но Ракиткин, и верно, разбередил ему душу. И с ним случилось то, чего Кошеванов не любил на войне и всячески осуждал в себе, — он задумался, и весь его длинный солдатский путь замелькал у него в голове, развернулся перед ним длинной томительной лентой.

Это были первые недели войны. Они стояли в растворенных дверях теплушки и смотрели на бегущие мимо поля и на полоску далекого леса, казалось, кружившуюся вокруг видимого простора. Был шум ветра и движения, свежая боль разлуки на сердце, а в ушах звучали слова, сказанные им на прощание жене:

— Не плачь. Я же скоро вернусь...

И у всех была одна мысль: скорей бы на фронт — прогнать немца и вернуться к старому порядку жизни, к жене и ребятам. Всем это казалось просто и ясно, и никто не помышлял о долгой разлуке.

Они заняли позицию, и на них пошли немецкие танки, они стреляли по танкам из винтовок, но пули отскакивали от брони. Танки лезли со всех сторон, а за танками солдаты в зеленом, уперши автоматы в брюхо, простреливали каждый клочок воздуха. Комбат, зажав ладонью хлещущую

из шеи кровь, приказал отступать. И тогда Кошечанов вспомнил слова, сказанные им на прощание жене, и заплакал. Он шел следом за товарищами по черной, воняющей порохом траве, слабо вздрагивая опущенными плечами, когда рвались вокруг бомбы с немецких пикировщиков...

Была длинная дорога отступления. Они проходили большие и малые реки, города, деревни. Закапывались в землю и дрались. Но на них снова перли немецкие танки и зеленые солдаты с автоматами. Они подпускали танки и швыряли в них бутылки с горючей смесью. Танки горели. Они подпускали солдат, так что видели их злые оружие рты, и жалея патрулы, принимали их на штык. Зеленые солдаты падали лицом в землю, но на их место перли новые солдаты под защитой новых танков. Они снова отходили, и снова — большие и малые реки, города и деревни. Они обгоняли на осенних дорогах людей, уходивших от немца со своими детьми и скудным домашним скарбом, люди сходили с дороги и грустно глядели им вслед. Одна старуха, у которой он попросил попить, сказала ему нехорошее слово и присовокупила:

— Когда вперед пойдешь, дам я тебе и воды, и молока, чего запросишь...

Он все ближе подходил к знакомым местам, но тем сильнее отдалялся от них, потому что знал, что этот путь придется проходить заново.

Затем они стали — насмерть — возле одной деревушки. Дальше идти было некуда. С верхушки дуба, росшего у околицы, виднелась Москва...

Он был ранен осколками мины и три месяца провалялся в госпитале. В это время ребята наступали, а он со злобой поглядывал на свою ногу,

забинтованную до паха, и занимал у раненых махорку, потому что свою быстро выкурил в первую же бессонную ночь. А затем его выписали и отправили на один из северных фронтов, там наступления не было, они сидели в сырых блиндажах, где из всех щелей сочилась вонючая болотная вода.

Немцы господствовали на высотах и пристреляли все кругом. Нельзя было поднять голову, — шлем, высунутый на штыке в амбразуру, мгновенно пробивался пулей немецкого снайпера. А потом одна наша часть зашла немцам во фланг и вынудила их уйти с занимаемых высот. Наши продвинулись вперед глубоким клином. Кошеванов, замирая, думал: «Вот оно — началось!» Но немцы сомкнули фланги, отсекали их группировку и пристреляли единственную дорогу, по которой к ним шло боеспитание и продовольствие. У них иссякла еда и остались считанные патроны. Им стали скидывать сухари с маленьких самолетов «У-2». Но немцы пустили в воздух «Мессершмитты», и «У-2» не смогли прорваться к ним. Он видел, как немецкие солдаты разгуливали во весь рост перед своими блиндажами, и ничего не мог поделать, потому что было запрещено тратить патроны. Они получали по три сухаря на день и варили суп из каких-то трав. Когда у них осталось по сухарю на каждого третьего, по ленте на пулемет, по обойме на стрелка, они закопали все, чего не могли забрать с собой, и ушли с земли, за которую их товарищи заплатили своей кровью. Они шли по пояс в болотной воде, одежда дымилась и не просыхала, бомбы сыпались вокруг них, вздымая огромные грязные шапки воды. Они пробились к своим, но он был снова ранен

шальным осколком и снова отбыл положенный срок в госпитале. Он отказался от отпуска, был отправлен на один из южных участков фронта и здесь снова залег в обороне.

И он стал солдатом: он научился быть исполнительным, терпеливым, расчетливым и молчаливым. Вместо длинных писем, которые он вначале писал жене, он научился писать: «Пока ничего жив, здоров...» Всякую грусть, если она когда и поднималась непрошеным гостем откуда-то из глубины, он научился тушить двумя-тремя затяжками крепкой махры. Он стал таким, потому что знал, что только таким доживет он до того дня, который почитал единственным своим счастьем. Счастье это было не в том, чтобы прийти в родной дом и обнять жену, — это было спрятано далеко на дне сердца, — а чтобы увидеть спину бегущего врага. Вместе с сыростью, ломившей кости, пулями, засевавшими в теле, вошло в него это желание, страстное, угрюмое великое желание пехотинца.

И дождался-таки Иван своего часа. В пору, когда декабрьский воздух звенел, прохваченный тридцатиградусной стужей, они поднялись и пошли вперед. Несмотря на мороз, они скидывали с себя шинели и бросались в атаку в одних гимнастерках. На всю жизнь, словно первое объятие, запомнил Иван, как вошли они в отбитый у немцев большой город и как простоволосая женщина бежала сбоку старательно вышагивающей колонны и всё голосила:

— Милые мои, родные!..

Помнил Иван, что казался он тогда себе молодым и красивым, словно кавалерист. Не обмануло

надежд Ивана зимнее наступление. Он и поговорку выдумал про себя: «Сдюжу всякую войну, а люблю одну — наступательную...»

Словно на одном дыхании отбили они еще много больших и малых городов, местечек и сел. Они шли на запад по несметным вражьи́м трупам, брали в плен целые полки, порушили несчетное число вражьи́х танков и пушек и не меньше того захватили целехонькими. А затем, уже на далеком рубеже, потекли поля и дороги весенней хлябью, разлились реки поперек солдатского пути. прекратилось наступление. Залегли...

Но сидел ли он в землянке, шел ли в поиск, отбивал ли настоячи́вые атаки немцев, — словом, неся весь труд обороны, Иван не мог забыть о том времени, когда шел вперед, и кровь пела в его теле, и не было ни тоски, ни страха...

Снаружи мерно лопались мины, потрескивали дровишки в каганце. Кошеванов задремал, утомленный непривычным наплывом мыслей. Он очнулся от крика: «Встать!», быстро вскочил, по пути оправив одежду, и застыл. В землянке стоял генерал.

Мокрая плащ-палатка свешивалась с его плеч, на козырьке фуражки, на седых бровях и даже на кончиках усов сверкали дождевые капли. Генерал снял капли с усов, затем поздоровался с бойцами. Он пробежал взглядом из-под торчкастых седых бровей по смуглым облупившимся лицам и задержался на Кошеванове. Хотя Кошеванов и так стоял «смирно», но вытянулся еще больше, так что вены набухли у него на шее. А генерал все смотрел на него, не то изучая, не то припоминая. Кошеванов любил и уважал командиров, но, как старый солдат, — издали. С-

глазу же ша-глаз он всегда робел. «Неужто меня что не в порядке? — думал Кошеванов. За что ж такая напасть!..» И тут генерал, что называется, отпустил Кошеванова и, чуть приметно улыбнувшись, сказал:

— Дублянская?

— Так точно, товарищ генерал! — сказал Кошеванов с облегчением и не удержал радостной улыбки.

То была его первая и единственная до сей поры встреча с генералом. Это было под Дублянской, в пору зимнего наступления. Подбросил подкрепление, немцы неожиданно ударили во фланг нашей наступавшей части. Наши цепи смешались и дрогнули. Впереди немцев вышагивал низенький полковник.

Кошеванов, который тоже было подался назад, вдруг увидел пулемет, а рядом мертвого пулеметчика. Он выкатил пулемет на пригорок и стал сечь немцев длинной струей. И первым упал низенький полковник. В этот момент Кошеванов услышал громкий голос, покрывший трескотню и шум боя: «Молодец, солдат!» — и увидел человека без шапки, с зелеными генеральскими звездами, который, повернув наши смешавшиеся части, сам повел их вперед. И от неожиданности Кошеванов забыл все слова и только сильнее сжал ручки пулемета. И так как никто, кроме генерала, не знал об этом случае, то и он молчал, чтоб его не сочли хвастуном.

— Старый знакомый, — с удовольствием сказал генерал кому-то из своих спутников. Затем, охватив взглядом всех находившихся в блиндаже: — Ну как, ребята, не надоело отлеживаться?

— За что только паек получаем, товарищ генерал?

Генерал посмотрел в маленькие глазки пехотинца, по-детски светлевшие на его поношенном дубленом лице, и солдат посмотрел на генерала, и оба поняли друг друга.

— Дай нам только распрямиться, товарищ генерал,— проговорил сзади молодой звонкий толос.

— Так, так, — весело сказал генерал и затем опять Кошеванову, но так, что каждый отнес и к себе: — Вот что, друг, в тот раз я тебя не нашел, но завтра, если заслужишь, уж не пропущу... — И слово «завтра», подчеркнутое генералом, отозвалось в сердце каждого.

— Дай бог сотню лет нашему генералу,— говорил Кошеванов взволнованным, как и он сам, бойцам,— завтра день нашему счастью. Экая у меня легкость в теле явилась, словно в бане побыл!

...Кошеванов проснулся часов в пять. Он выпел из блиндажа, обтер грудь, руки и лицо дождевой водой из кадки и, чувствуя ту же юную легкость, принялся будить товарищей. Те быстро вскакивали, сон их был так же непрочен, как и его.

Кошеванов достал свой тощий вещевой мешок, вынул оттуда чистую чательную рубашку. Ракиткин с уважением потядел на его смугловатый ребрастый торс, во многих местах помеченный красноватыми швами.

— Тронутый вы человек, Егор Иванович,— сказал Ракиткин.

— Есть малость... — не без гордости согласился Кошеванов, натягивая чистую, приятно хо-

лодноватую рубашку на свое не первой свежести тело.

...Наступление началось в 13.00 шквальным огнем нашей артиллерии. Весь передний край немцев вздыбился, словно взорванный подземным толчком.

После артиллерийской подготовки, длившейся свыше полутора часов, пошли тяжелые танки с автоматчиками на могучих спинах. Они вырвались на рубеж атаки из роцка, разом опрокинув ее опушку, словно она была намалевана на картоне.

Танки промчались мимо переднего края, и все видели простые лица ребят, лежащих с короткими автоматами на белой пробитой броне.

И тогда поднялась и с криком «ур-а-а» рванулась на врага пехота.

...Уже вечерело, и бой отдалился от узла немецкой обороны, ставшего ареной ожесточенного дневного боя. По окраине местечка проходило трое людей: генерал, опирающийся на еловую палочку, — он был контужен в ногу, — адъютант и высокий седой подполковник. Все трое с интересом осматривали дома, превращенные немцами в крепости, с амбразурами, выпиленными в углах стен, семинакатные блиндажи, холы сообщений, прорезавшие улицы, зарытые в землю танки, окна, заставленные стальными плитами.

Они остановились у развороченного гранатой немецкого блиндажа. Прислонившись спиной к бревенчатой стенке, сидел раненый боец. Маленькая смуглая девочка-медсестра быстрыми и будто сердитыми движениями бинтовала ему грудь. Боец держал в руках немецкий автомат, а его собственный, с расстрелянным диском, лежал у него на коленях, мешая работать сестре.

— Вы называете чудом то, что узел обороны, который немцы укрепляли больше года, мы взяли за три часа,— говорил генерал высокому подполковнику, корреспонденту столичной военной газеты,— но вы посмотрите вот хотя бы на этого раненого бойца, и вам станет ясен смысл этого чуда.

Вокруг, как бы распростертые у ног бойца, лежали восемь или десять трупов немецких солдат, скрюченных, потому что смерть застигла их на бегу. У одного из них между лопатками торчал кривой нож.

— Давай скорей,— с нетерпением повукал боец сестру,— ребята уж вон куда ушли.

Несмотря на бледность, немолодое лицо человека было радостно возбуждено, и в светлых глазах поблескивали веселые и злые огоньки. Сестра, не отвечая, продолжала туго наматывать бинт, и пятнышко крови, там, где бинт соприкасался с раной, постепенно бледнело.

— А-а, старый друг,— сказал генерал, и на его усталом лице появилась добрая улыбка.— Видишь, я сдержал свое слово, паншел тебя.— Генерал поклонился и поцеловал Кошеванова в худую щеку.— Ну, вот ты и дождался своего солдатского счастья.

Большое сердце

Попутная машина сбросила меня в каком-то селении, километрах в сорока от новой линии фронта. Время приближалось к полуночи, и двигаться дальше было бессмысленно. Я решил здесь заночевать. В ночи торчали еще более черные, чем сама ночь, ребра сожженных строений, но кое-где сквозь неплотно прикрытый ставень пробивался свет уцелевшего жилья. Один дом под горбатой крышей гостеприимно и открыто вдавался в улицу, приглашая путника под свою кровлю. Я постучался. Кто-то долго возился с засовом, затем дверь распахнулась. Очень худая черноволосая женщина и двое детей — мальчик и девочка — стояли на пороге и улыбались, словно я был ожидаемым и желанным гостем.

— Заходите, заходите, — сказала женщина, — поди, намучились с дороги... Часть свою, небось, нагоняете?

— Да, — ответил я, стаскивая рюкзак и снаряжение и не решаясь бросить всё это на чистый до блеска сосновый пол.

Женщина сама взяла у меня из рук ремни, а мешок сунула под лавку.

— Нюша, поставь самоварчик, а ты, Вовочка, слей товарищу, — он вон какой черный.

Я вышел в сенцы вместе с Вовой, черноглазым

человеком лет семи. Он стал поливать мне в ладони из глиняного кувшина тонкой-претонкой струей. Я сказал в шутку:

— Давай веселей, чего водичку жалеешь!

— Нельзя, дяденька, — застенчиво и серьезно сказал мальчик, — мамане трудно к колодцу ходить. Больная она у нас.

— А что с ней?

Меня сразу, едва я вошел, поразила необычайная худоба этой высокой, крупной кости, женщины. Юбка едва держалась на плоских бедрах, лицо в черных тенях, губы подобраны, скрывая в терпеливой складке большую и, видно, неизжитую боль.

— Как папаню убили, так у нее и болезнь заведась, — по-взрослому ответил мальчик, — а после немец доконал...

Он осторожно поставил кувшин на пол. Я утерся рушником и вошел в кухню, где на столе уже исходил паром запотелый самовар и чайник на конфорке пел свою тоненькую песню. В раскрытую дверь я видел горницу, чистую, как и кухня, с засохшими цветами в горшках, истоптанными половичками и крепкой мебелью. На всем лежал отпечаток прочной, слаженной домовитости, оскудненной, расстроенной войной.

Со стены прямо на меня глядел из черной рамы, убранной хвоей и цветами-бессмертниками, солдат в шинели с широким воротом и фуражке. Лицо его, плотно обтянутое кожей, казалось худым. Горбоносое и высоколобое, оно поражало удивительно цельным и чистым единством между волевой силой его костяка и лучистой добротой глаз, добротой, выходящей из рамок портрета и отепляющей комнату.

— Это ваш муж?

Хозяйка, разливавшая из чайника желто-зеленоватый настой травы гонимобля, подняла на меня черные глаза, перевела их на портрет и тихо сказала:

— Мой... Поверите ли,—продолжала она с той простой искренностью, которую дает лишь большое страдание,—ведь знаю, что погиб, письмо с фронта от товарищей его получила, а здесь всё чего-то теплится. — Она прижала руку к груди. — Каждой клеточкой тела его помню. Руки его на себе помню. Ласковый он был со мной, а на людях—гордый, непреклонный... Немец его раненого в плен забрал, все косточки ему повывертывал, а ничего не дознался. Товарищи его мне обо всем прописали. — Тут она заметила, что я скрутил папиросу и не знаю, как прикурить: коптилка была привешена к потолку. Она встала, чтобы достать уголек из печи.

Ухват разворошил уголья, уснувшие под золой, и по ним побежал огонек. Отсвет его коснулся лица хозяйки. Он обвел ее профиль нежной золотистой каймой, погрузил в тень другую половину лица, скрыв морщины, обветшалость и вмятины, зажег ее мерные тусклые глаза, придал трепетную силу и изящество ее движению навстречу огню. словно чудесное, сказочное превращение произошло с этой страшной от худобы женщиной. Я не удержал невольного возгласа:

— Какая вы красивая!

Она повернулась ко мне, затасив разом короткое превращение.

— Да,—сказала она, спокойно улыбнувшись,—я была красивой женщиной. Меня все за грузнику или армянку принимали.

Огонь, бросивший свет на лицо хозяйки, в какой-то короткий миг рассказал целую повесть о союзе двоих в большой, как жизнь, любви, о страдании, для которого нет ни слов утешения, ни слов защиты, об извечной преданности, сжигающей самое себя памятью о любимом. Но последовавший рассказ хозяйки раскрыл мне гораздо большее. Я увидел союз двоих, чистой, преданной силой своей поднимающий душу до подвига.

Укладывая детей спать, хозяйка поцеловала каждого в лоб. Затем она подошла к жалкой лежаночке, покрытой полосатым одеялом, и губами коснулась подушки. Верно, здесь прежде спал ее муж. Но в глубине комнаты я увидел прочное супружеское ложе, двуспальную кровать с горкой подушек.

Когда хозяйка вернулась в кухню, я спросил ее об этом. Мой вопрос не удивил, не смутил ее. Голосом, каким говорят о великой боли, выстраданной, но не убившей сердца, хозяйка рассказывала мне историю последних месяцев своей жизни.

Она не смогла уйти вслед за другими жителями, когда фронт уже вплотную приблизился к селу. Болезнь, открывшаяся у нее после гибели мужа, вызывала тошнотное головокружение, как только она выходила на простор.

У нее в доме расположился походный госпиталь танковой части. Ранения у танкистов большей частью трудные — головные. Вносили раненых, обеспамятевших, с пехорошей белизной лиц, в шлемах, набухших кровью. По слабости она не могла выносить вида крови, забивалась с детьми в чуланчик при кухне и дрожала частой жалкой дрожью, так что дети начинали ее упрашивать:

— Перестань, мамынька, ну успокойся ж, мамынька.

Но затем стоны приходящих в сознание раненых заглушили в ней темный страх, — да и как может русская женщина-мать устоять перед чьим-либо страданием и не прийти на помощь теплом рук и сердца! Она стала помогать пожилой женщине-хирургу и двум девушкам-санитаркам, составлявшим весь штат госпиталя. Работы было много — танковая часть, не жалея крови, вела бои на подступах к селу.

И хотя не было у Ольги Андреевны ни выучки, ни опыта в обхождении с ранеными, она видела, что им особенно дорога ее забота, ее уход. От ее неумелых и потому особо осторожных и ласковых рук веяло им родным, материнским теплом, преданной домашней заботой.

Впервые после гибели мужа Ольга Андреевна почувствовала, что она не просто тлеет, как головешка в сырой ночи, а дает свое тепло жизни. Одно только было ей трудно переносить: если раненый, после всей борьбы за его жизнь, под утро застывал на койке в мертвой неподвижности, закаменев лицом, на котором лишь недавно переменялись мука и надежда. Это равнодушие смерти было ей страшно и непонятно. Тогда она уходила в свою каморку, плакала, сколько хватало слез, потом с помощью соседа-инвалида хоронила бойца на задах дома, в огороде, где почва была разработана ростом овоща и легко поддавалась лопате.

Вскоре произошло то, о чем Ольга Андреевна совсем было перестала думать, выкинув из своей занятой памяти. Произошло внезапно, быстро и страшно. Ранним утром, вспылив землю, по ули-

це прогрохотали пять или шесть танков с черной излупцованной броней. Затем прошла пехота, понурив головы, тоже черная, истерзанная. Раненых спешно погрузили в крытый брезентом грузовик. Хирург хотела забрать и Ольгу Андреевну со всем ее семейством, но куда-то запропастился Володя, и грузовик тяжело стронулся с места. Из машины послышался стон.

«Разбредило голубчика...» — подумала Ольга Андреевна и вошла в дом, опустилась на лавку и бессильно свесила ставшие ненужными руки.

Было тихо и в дому и на улице, — или ей только так казалось. Затем послышался раздельный тяжелый стук в дверь.

«Немцы», — подумала она и не встала со скамейки. Стук повторился слабее, затем шорох, будто кто-то водил руками по войлоку, и что-то грузно съехало по двери на пол. Она встала и отворила дверь. На полу лежал боец, его белобрюсую запыленную голову пересекала кровавая рубленая полоса. Ольга Андреевна втащила раненого в дом, обмыла ему голову и ту же перебинтовала. Раненый открыл голубые мальчишеские глаза.

— Спасибо... мама, — сказал он устало и покойно, словно знал, что теперь есть кому попеться о нем, опустил веки.

Надо было торопиться: с минуты на минуту могли прийти немцы. Ольга Андреевна поставила в чуланчик лежанку, положила на нее раненого, закрыла плотно дверь, которая незаметно прилегла к доскам стены, и заставила корытом. И было во-время: на улице оглушительно залаяли разом все псы, в село входили чужеземцы.

Немецкий офицер поселился в доме Ольги Ан-

древны. Она с детьми приютилась в клетушке при сенцах. Ночью она пробиралась в кухню к раненому. В двух шагах от спящего немца ей приходилось ворочать кóрыто, готовое от первого сотрясения страшно загудеть. Немцу снились дурные сны. Он хрипел и вдруг пронзительно вскрикивал, так что сердце в шей обмирало: «Увидел!..»

Но он продолжал ворочаться в постели, хрипя и злобно жалуясь, словно боролся с кем-то во сне.

Раненый поправлялся медленно. От сырости в чулане рана его не затягивалась, оставалась мокрой, с пехорошими желтыми краями. Он почти всё время находился в забытии. Иногда спекшимися губами шептал:

— Спасибо, мама...

И Ольга Андреевна, несмотря ни на что, твердо верила, что спасет Николая,— так звали раненого бойца. Она даже не знала, кто он, откуда родом, есть ли у него родители или невеста, но приняла его в свое сердце крепко, как сына.

Это было рано утром. Она спала, чувствуя во сне голову Володи у себя под подбородком. И сперва сквозь сон почувствовался ей грубый рывок, затем перешел в явь. Денщик офицера сорвал ее с тюфячка и потащил в комнату. Из яростных криков немца, мешавшего русские и немецкие слова, она поняла, что немцы услышали стои раненого, но обнаружить его сами не сумели. Тогда она сказала почти спокойно: «Не знаю я, что вы такое говорите. Никого у меня в доме чужих, кроме вас, нет. Верно, сынишка во сне крикнул».

— Ну, было тут всякое. Били они меня куда

ни попало, да разве болью телесной что из сердца вырвешь? Он ударит, а я гляну на портрет мужа Ильи Никитича — у него лицо строгое, суровое: я через немца терпел и не сдался, и ты терпи... А тут немец и перестал меня бить. Удивился, поди, что я такая слабая, в чем только душа тешится, а не крикну. Я вниз смотрела, вижу — у него руки трясутся, как с испугу. Я было подумала: отпустит он меня. Да тут, надо же, Володенька мой вбежал и вцепился ручонками в юбку. Защитить вроде хочет. И как он почувал, что со мной, ведь я голоса не подала? И зачем только он вбежал, может, обошлось бы всё.

Ольга Андреевна перевела дыхание и на секунду сжала виски просвечивающими от худобы пальцами. Затем приблизила свое лицо ко мне и сказала шепотом, словно тайну:

— Пригрозил мне немец, что сыночку моего пристрелит, если я не признаюсь... Страшно он это сказал, а я не поверила. Ведь разве можно грех такой на душу брать — детскую-то кровь лить?.. А он вынул свою пушку и в ствол дует. И тут я подняла глаза: он улыбается. Лучше б он зверем смотрел! Такая улыбка у него нехорошая — пустая, вкривь куда-то сползает; я обмерла враз, в сердце укол: может убить...

Немец говорит, что он до десяти будет считать, а на десятом счете выстрелит. И всё по-русски говорил, а считать стал по-своему: «цвей, дрей», чтоб мне страшней было. Помутилось у меня всё в голове, качает меня, как травинку на ветру.

Вперилась я глазами в портрет Ильи Никитича, а у того лицо злобой лютует — на слабость мою, что ли?.. Не пойму я, чего он хочет: чтобы

я жизнь нашему сыну спасла или.. Да ведь мать я, разве ж мне можно родную-то кровинку...

Она снова замолчала, будто осеклась толосом. И тогда сказал я, чтобы облегчить ей признание: — Вас винить нельзя — мать...

Она посмотрела на меня долго, будто испытывала.

— Нет, — сказала она просто, — не от сердца вы говорите. Поняла я взгляд Ильи Никитича и злость его: боялся он, что я перед чужеземцем характер сдам. И заперла я в себе голос. Онемела... Не знаю, досчитал ли немец до конца, только вдруг он отскочил к стене и глаза белые выкатил. Обернулась: в дверях Николай стоит. Повязка с головы сорвана, в руке висит и кровью капает. Лицо, как снег... Глянула я на него и стала на пол валиться. И уж потом вспомнила, как он немца повязкой по лицу ударил, и крик его последний: «Прощай, мама!..»

Очнулась я в чулане. Дети со мной. Немец нас на замок посадил, чтоб казнь нам пострашней удумать. Да мне всё одно — нет у меня силы для страха... А ночью немца в селе не было. Наши пришли...

Часы, висевшие в комнате, зашипели, мерно, веско бросили в тишину гулкие удары: один, два, три и, словно раздумав, смолкли.

— Что ж я заболталась, — встревожилась Ольга Андреевна, — вам бы спать давно надо.

Ночь перед боем

Как правильно выразился боец Куриленко, пехота эти бои в перчатках вела. Прорыв первой линии вражеских укреплений решил обходный маневр танков, вынудивший немцев поспешно покинуть позиции и перенести оборону непосредственно в район города. Пехоте оставалось только подчистить за танкетками, что и было выполнено, по выражению того же Куриленко: «аккуратно и без потерь».

Но теперь ей предстояла работенка — и не малая. Город должно было брать прямым штурмом, ибо немецкий гарнизон, даже отрезанный с флангов, не пожелал ни оставить, ни сдать этот важный в их обороне опорный пункт.

Назавтра предстояла атака. По ровному открытому полю, чуть тронутому кустарником да сухими балочками, должна будет пронести пехота силу свою и ярость к стенам немецкой крепости. Как и всегда накануне боя, земляника, временный приют пехотинца, выглядела уютной и обжитой, словно не один век в ней свекобали, и особенно любовно ощущалось каждым тепло солдатской дружбы, мужской семьи. Все были особенно предупредительны и обходительны друг с другом. Почти никто не курил свой табак: все

угощали друг друга, и отказаться нельзя было. Сержант Глушин одолжил Лихареву свой широкий кожаный ремень, которым дорожил больше всего на свете. для заправки штыка, и Лихарев, человек ревностный к оружию, закусив кончик языка, старательно заправлял о кожу голубоватую потеплевшую сталь.

Старший во взводе боец Семушкин вночголосо читал последние письма жены нескольким друзьям. Иной брился, иной принимал металлическую пуговицу к сорочке: бойцы, кроме одного, были заслуженные, давние и, по установившейся традиции, хотели встретить предстоящий бой чистыми, убранными.

Даже небольшие ссоры и перебранки, неизбежные в каждом хорошем обществе, быстро потухали, не находя пищи в подобранных сердцах людей. Одна из таких ссор возгорелась было между двумя бывальыми солдатами: Чепурновым и Куриленко. Произошло это так: в землянке пахидся молотенький курносый боец-повнчок, Коля Суников, который еще не был ни в одном настоящем бою, и потому то и дело приставак к бойцам: а что тогда делать?.. да как это делать?

— Да что ты всё — «как» да «как», — ворчливо переприазнил его Чепурнов, бывальый солдат, украшенный двумя медалями и пятью полосками «за ранение», человек с тяжелыми кпстями рук, мрачным, хотя и не злым взглядом. — Раз сказано тебе «вперед», так и крой на все на сто.

— Неверно. Александр Петрович, молодого учинь. — вмешался другой бывальый солдат Куриленко. Как и Чепурнов. Куриленко воевал с первого дня, но чудное дело: ни разу не был ранец, только легко контужен однажды, отчего осталось

у него лишь подергивание в левом глазу. Куриленко, во уступавший Чепурнову в боевом успехе, был человеком более легкого, подвижного душевного склада, и храбрость его была другой — не слепой, а расчетливой, осторожной. На этой почве у них постоянно происходили стычки. И симпатии бойцов делились: тем, кто помоложе, импонировали нашивки Чепурнова за пролитую им кровь; тем, кто позрелее — бойцовская удачливость Куриленко, в которой пехотинцы черпали и для себя бодрость и надежду: ведь не легкое это дело — пехота!.. — Об уме бойцу ни в коем случае забывать не след, — сказал Куриленко.

Чепурнов немедленно принял вызов:

— С оглядочками да приглядочками честному бойцу негоже.

— Не с того конна смотришь, Александр Петрович, — перебил его Куриленко. — На что, спрашивается, тебе приказ «вперед» датеи? Чтобы ты врага достиг и в ручном бою на штык поднял. А если безо всякого, как слепой, пойдешь, тебя любая нуля-дура клюнет. Глядь — и уткнулся посом в землю... Медаль-то, может, ты за храбрость и получишь, да только — кто приказ за тебя выполнит? Тезка твой — Пушкин, что ли?

Бойцы засмеялись. Чепурнов побатровел.

— Я для приказа жизни не пожалею. А вы повоюйте с мое, тогда скальте зубы!

Но ссоры сегодня получиться не могло. И Куриленко не прищурял, как обычно, своего мигающего глаза, чтобы острым словцом срезать Чепурнова. Он потянулся в карман за кисетом и миролюбиво сказал:

— Сердиться, Александр Петрович, нечего.

Мы к тебе, сам знаешь, со всем уважением, для молодого, я все же скажу, как есть не мешаю тебе заслужен и те же медали на груди под «вперед» — это значит: впереди себя никого выпускать, по сторонам не ротозейничать, но помнить: пока вражеских окопов не достиг и хотя бы одного немца на штык не поднимал, помирать не имеешь права. Иначе нет тебе чести, а дел, пользы. Так-то! — и он поднес кистет Чепурнову: — Угощайся травничком, первый сорт, для духу мята положена.

В другое время Чепурнов, наверное, сердито отвернулся и пробасил бы: «Своим не болны», но сейчас он запустил в табакерку свои узловатые пальцы, скрутил мапироску, затянулся, попридержал дым, затем, выпустив его, определил:

— Важный травничек.

Край плац-палатки, закрывающий вход, приподнялся, и в землянку вошел боец Темченко.

— Ночь-то какая, батюшки-светы, — сказал Темченко, — звезда к звезде. Всё серебром играет. И дух особый, серебряный...

Темченко любил природу. Бойцы это знали и без насмешек слушали пространные рассуждения Темченко о звездах, травах, деревьях, в которых ему виделась особая, скрытая одушевленность.

— У нас этакую ночь русалочной зовут, — продолжал Темченко, и на его дубленом, в суровых складках, лице проступило детски-нежное выражение. — Русалки будто на берег выходят падушие звезды ловить и на бусы их нанизывают.

— А какие они из себя, русалки? — спросил курносенький боец, Коля Сушков.

— Нешто не знаешь? — с серьезным видом сказал Лихарев, отрываясь от автоматного диска

в котором выправлял полояющую пружину.— Да бабы с рыбьим хвостом. Из пих уха — пальчики облизешь!

— Вот-вот,— подтвердил Темченко,— только, когда они на берег выходят, у них вместо хвоста пажки отрастают.

— А ты почему знаешь? Видал, что ли?

— А то как же,— мечтательно улыбаясь, сказал Темченко.

Кое-кто из бойцов, в числе их Коля Сушков, подсел поближе к Темченко. Коля Сушков особенно любил его рассказы, напоминавшие ему вечера в родном доме, на краю небольшой деревеньки Глухило, и бабу, неторопливым, певучим голосом рассказывающую сказки меньшим внукам.

— Я тогда пацанком был, чуть помоложе его,— указал Темченко на Колю Сушкова,— в ночном коней стерег. После я картошки и прилег в пняке на берегу речки. Лежу на спине, гляжу в небесную тпшину, и хорошо мне так... А ночь была, вроде нынешней: безлунная, да ясная, звездная. И звездочки то и дело вниз съплотятся. Вспомнил я: если чего загадать, прежде чем падчая спаснет,— беспременно сбудется. Так ведь? — обратился он к внимательно пахмурившемуся Сушкову.

— Верно,— отозвался Сушков,— у нас всегда загадывают.

— Ну, вот, я и думаю: чего бы мне такого пожелать? Жили мы не плохо, сыт, обут был, и никакое мне желание в голову нейдет. Хотел было ружье двухствольное пожелать, да вспомнил, что отец мне его и так к рождеству обещался. Реку, что ли, ближе к дому передвинуть?

Тогда и мельницу перепосить придется, — хлопот. А что, думаю, если русалку пожелать? Ждался я, как звездочка одна покатилась, и бы говорю: «Подать мне сюда русалку сей мину!» И только договорил, раздвинулись ветки, и видит русалка: волосы в две косы заплетены, лицом вся нежная и в сарафан одета. Увиде меня — вскрикнула, застеснялась. Оробел спервоначалу, да парень не робкий был, вскочил обнял ее и поцеловал в губы.

— Ну, а дальше что? — спросил курносенький боец, глядя на Темченко круглыми глазами.

— Что дальше?.. Дальше заявился к отцу наш мельник колхозный. «Если, — говорит, — я еще узнаю, что твой Васька да с моей Пюркой такое позволит, уж не взыщи, сосед, сущу с него шкуру...»

Общий хохот покрывает последние слова Темченко.

— Как же так вышло, дядя Вася? — сквозь смех спрашивает Коля Сунков. — Верно, несбыточного пожелал?

Но ответа он уже не слышит. В землянку вошел разводящий.

— Сунков, в караул. Твоя смена.

Не хочется уходить из теплой землянки, от ребят. А надо! Паренек прихватил необходимое снаряжение, автомат и вышел вслед за разводящим в траншею.

По дороге ему попался командир батальона, капитан, который отнюдь не бурлил трубку. Николай козырнул и, прижавшись к стене траншеи, чтобы не задеть комбата, прошел на пост.

Небо сейчас закрывала черная глухая туча, лишь за краями ее были звезды, слабые, потому

что вся земля по горизонту светилась своим светом, более сильным, чем свет этих звезд. И свет земли был: на востоке от умирающего за краем земли заката, на западе — от зарева пожарниц. Противник жег деревни и села окрест города, видимо, не рассчитывая удержать здесь долгую оборону.

Слегка поживаясь от постудеявшего августовского ветерка, Николай думал о товарищах, оставшихся в землянке, с нежностью вспоминал их лица, слова, их дружбу, не остывающую до самой смерти, и думал, что люди эти стали млей и ближе ему родного дома, светлого мира отчужества, который он так рано покинул из-за войны. Большая глухая туча вытянулась до горизонта и стала закатываться за край земли, освобождая небо.

Когда Сушков, оторвавшись от своих мыслей, поднял голову, над ним возносился огромный купол, усеянный чистыми, белыми огоньками звезд. Лишь на короткий миг привиделся ему этот купол, вслед за тем его душу поразило острое, захватывающее ощущение бескрайней, безграничной пустоты. Пустота эта угадывалась за последними, чуть мерцающими звездами, такая, что сжималось сердце. Казалось, выпорхнет душа из тела, улетит ввысь, и где ее сыщешь, душу-то, в такой пустоте!

Странно взволнованный, глядел Николай в простор звездного неба. Над самой его головой запрокинулся огромный ковш, сбитый из крупных, крепких звезд. Над одним из его углов большая белая, словно капля молока, тихонько переливалась сама в себе звезда, холодная-холодная... А одна звездочка ежесекундно меняла свой цвет:

то красная, то зеленая, то снова красная; будто сигналила другим звездам, чтоб не столкнуться на путях своего круговращения. Местами звезды ройлись, ступеньвались в сабристые поля, похожие на хлопья утреннего мапа над болотом.

Но вот одна звездочка мигнула, дрогнула, катилась вниз и вдруг растаяла. За ней вторит третья. Николай вспомнил разговор в землянке, чувство детской веры тронуло его сердце. И по звезда падала, он громкой частой скороговоркой успел сказать слова своего желания:

— Желая, чтобы завтрашний бой принял победу, чтобы город взяли и всех немцев и положили, до последнего!.. — Он чуть задохнулся выговорив всю фразу на одном дыхании, но успел сказать самое большое свое желание и радостно улыбнулся.

И странное дело, звезда еще не кончила своего бег. Она не просто падала, эта звезда, как обыкновенно падают звезды в августовскую ночь, — коротким чирком пронизав небо и тут же погасла. Нет, крутою дугой катилась она поперек неба пронизала ковш, на секунду исчезла в световом шаре холодной Полярной звезды и снова возникла.

И Николай снова заговорил, горячо, задышав в обгон звезды:

— Желая друзьям своим жизни — Курилеву, Чепурнову, Семушкину, Лихареву, Темченко, — боялся пропустить кого-нибудь, — Левкину, Сегаю, Глушину Якову...

Тут он на миг задержался на трудной фамилии, принадлежавшей смуглому большеглазому бойцу:

— И Мнацаканяпу... И чтобы никто не был ранен в этом бою...

Тут он снова улынулся, обрадованный, что и это свое желание успел сказать.

И он хотел добавить еще что-то, но звезда, не достигнув земли, растаяла, и серебряная ниточка — ее следок на небе — тоже растаяла.

— Хорошо пожалел, — услышал он низкий мягкий голос комбата и ощутил, что румянец стыда горячими волнами заплескивает ему лицо. Комбат положил руку ему на плечо. — Это детская вера в нас говорит. А в такую ночь и не грех поверить, что сбудутся все желания. У меня ведь семья там. — Он махнул рукой на запад, где дрожало и перемещалось зарево, и замолчал.

Молчал и Николай, не зная, что сказать.

Капитан поглядел на лицо Николая, простое лицо колхозного паренька, на его фигуру, плотно сбитую, и ему захотелось сказать ему что-нибудь очень большое и доброе, чтобы тот запомнил на всю жизнь, но все хорошие слова растерялись где-то около сердца, и он сказал только:

— Ну, карауль тут, да, смотри, не простудись.

И Сушков ответил:

— Есть не простудиться, товарищ капитан! — и коротким движением козырнул.

Возвращение мастера

Догупов ушел с рабочим ополчением душой августовской ночью, когда немцы прорвались предместьям заводского поселка.

Он не сказал жене, что уходит. Когда ее не было дома, он достал из сундука сукошный остроконечный шлем, оставшийся еще со времен гражданской, заправил брюки в сапоги и пошел на площадь, где формировались рабочие отряды.

На площади их выстроили для переключки. Догупов оказался крайним левым в шеренге. Им роздали винтовки и повели на рубеж.

На улицах города было тревожно. Началась срочная эвакуация. Метались люди с домашним скарбом. Жалобный женский голос звал в темноте:

— Ми-ня!.. Митюшка-а!..

Где-то, заходясь, плакал ребенок. Гулко прозвучали шаги комсомольского патруля. Догупов увидел знакомые лица. Между деревьев-мелькнула Волга. Широкая лучшая полоса колебалась на воде, словно пытаясь накрыть ее всю, но не могла. По ней передвигалось какое-то черное тело.

«Паром, — подумал Догупов и тут же вспомнил о жене. — Скорей бы она переправилась на тот

берег...» Соседи обещали взять жену с собой, когда будут уходить за Волгу.

Едва колонна, взвившаяся в воинскую часть, вышла из поселка, как позади тяжело заухало. Завод обстреливала немецкая артиллерия. Догунову хотелось стать совсем глухим, чтобы не слышать этих разрывов. Он шел, боясь обернуться.

Впереди снова мелькнула Волга. Теперь вместо серебристой лунной полосы на воде лежал дрожащий кроваво-красный ответ, какой бывает в предгрозовые закаты.

— Горит где-то, — произнес тихий голос.

Запах гари, едкий, теплый и горький, нагонял людей. Люди невольно прибавили шагу, чтобы уйти от него, но это им не удавалось. Догунов почувствовал в этом запахе легкую, еле уловимую примесь анилина: до боли знакомый запах его цеха...

— Пятый горит, — произнес вслух Догунов.

Ему казалось, что сердце в нем замерло. Тринадцать лет назад строил он этот цех. Тринадцать лет он работал в нем — сперва чернорабочим, затем станочником, мастером. Он знал в нем каждую деталь, знал, как бежит по цеху солнечный луч, отражаясь на гранях металла, как ложится стальная пыль на станке к концу рабочего дня. Догунов не выдержал и обернулся.

Огромное зарево стояло над заводом. В темноте металась трубы, деревья. Всё горело, мучилось, уничтожалось.

Колонна далеко ушла вперед. Сбившись с ноги, Догунов бросился нагонять товарищей.

...Они стояли на дне глубокой балки. Завода не было видно, но в наволглой темноте сен-

тябрьских ночей Догунов чувствовал его тяжкое, притомленное дыхание. Догунов старался представить себе, что там сейчас творится, но от этих мыслей ему становилось до того скорбно на душе, что он старался об этом не думать. Бойцов удивляло, что этот маленький, тщедушный на вид и давно не воювавший человек дрался умело, зло и бесстрашно. Все в один голос говорили, что таких жестоких боев им еще не приходилось вести. Немцы преобладали в силах и на земле, и в воздухе. От их непрерывного огня земля стала совсем черной и воняла порохом до тошноты.

Однажды на рассвете немцы пошли в очередную атаку. Впереди двигались тяжелые танки, а с боков и позади солдаты в зеленом, прижав к брюху автоматы, шли, не пригибаясь, во весь рост. Их вид говорил, что на этот раз они решили прорвать нашу оборону во что бы то ни стало. Разрывная пуля раздробила Догуну руку левой руки. Сержант, командир взвода, крикнул ему, чтобы он покинул поле боя. Догунов ничего не ответил и стал зубами дергать чеку гранаты и швырять здоровой рукой. И когда казалось, что немцам достаточно сделать еще один рывок и они ворвутся на наши позиции, немцы повернули и откатились.

Догунов присыпал рану землей и крепко завязал тряпкой.

— У вас все на заводе такие? — спросил Догунова сержант, скручивая папиросу потными черными пальцами.

— Какие? — не понял Догунов.

— Ну, такие... самостоятельные.

— Все, — сказал Догунов.

— Обязательно приеду к вам после войны,— твердо оказал сержант.

— Приезжайте,— сказал Догунов.

Через час немцы снова пошли в наступление. Осколок мины пробил сержанту грудь. Он устало закрыл глаза и как-то тихо, осторожно лег на землю.

Догунов разрезал ему гимнастерку и приложил ухо к его груди. Сердце сержанта не билось. Мгновенная острая боль пронизала Догунова. «Так ты и не приедешь к нам, друг»,— сказал он и поцеловал сержанта в сухие, спекшиеся губы. И тут он заметил, что из соседних окопов выскакивают бойцы и бегут навстречу немцам. И, еще не совсем поняв, что он делает, Догунов крикнул своему взводу: «За мной, друзья!» и ловко из-за мешавшей ему руки выскочил за бруствер и побежал вперед. За своей спиной он чувствовал горячее дыхание людей и с радостью подумал, что люди послушались его голоса и шли за ним, как за командиром.

Из того, что было после, Догунов запомнил только, как он ударил немца штыком, совсем забыв в эту минуту о раненой руке, но удар получился слабый, и немец пробежал мимо него. Затем была страшная боль в правой руке, словно от удара железной полосой; затем провал пустоты и, наконец, светлые и казавшиеся бесконечными коридоры госпиталя, по которым его несли на операцию.

Когда в середине февраля Догунова выписали из госпиталя, бой кончился, завод был освобожден. Раны Догунова зажили, но обе перебитые руки слушались плохо. Пальцы почти не сгибались, и Догунов не мог скрутить папиросы, не

просьпав при этом табак. На сердце у Догуну было пасмурно и тоскливо, как еще никогда жизни.

«Куда я теперь похусь, — думал Догунув, поде езжая с попутной машиной к заводу, — мастер бе рук?.. Лучше бы мне ног лишиться. Все может было бы приспособиться. Завел бы себе табуре и работая бы сидя...»

Завод был жестоко разрушен. Ветер гулял в разбитых, пустых цехах; нежные в сложной тои кости своих конструкций, станки валялись по открытым небом, покрываясь красной окисью. Куски железа, дерева, стекла, стреляные гильзы, стаканы артиллерийских снарядов — мертвые черный хлам — устилали землю. Эта картина тяжело поразила Догунува, который невольно связывал свое состояние с тем, что открылось ему на заводе. Кое-где работали на расчистке люди, но их фигуры выглядели жалкими и потерянными среди этого хаоса.

Догунув пробрался в свой цех. Черный нагар покрывал металлические конструкции, ржавчина расплзлась по телам станков, пол был покрыт толстой коркой льда, — это замерзла вода, которой тушили пожар в цехе. Под тускло-зеленой поверхностью льда растеклись красные жилки — смерзшаяся человеческая кровь. Близ его станка валялся труп немца. Догунув толкнул его ногой — труп был твердый, как дерево. Потом Догунув положил руки на холодную станину своего станка и тяжело задумался.

Вечером Догунув пошел взглянуть на свой дом, но дома не было, только труба торчала, жалко и печально. Среди горького мусора, — все, что оста-

лось от его добра, — Догунов обнаружил металлический гребень, которым его жена расчесывала свои длинные тяжелые волосы. Догунов поднял его и, показалось ему, ощутил слабый и мучительно знакомый запах ее волос. Где она теперь? Люди, которых Догунов пытался расспрашивать, давали путанные ответы: один видел ее на пароме, другой говорил, что она не успела уехать, но где она сейчас, никто не знал. Догунов сел на камень и всю ночь просидел так, в горьких, безрадостных мыслях. Он не замечал ни студеной изморози, сочившейся с неба, ни порывов холодного ветра с реки, от которых ломало в костях. Всё имел человек — дом, семью, золотое мастерство в руках — и всего лишился...

Однажды, когда Догунов без всякой цели бродил по заводскому двору, ему повстречался директор. Он шел с группой инженеров и что-то им горячо доказывал. Но заметив мастера, он покинул своих спутников и пошел к нему, заранее протянув руку для пожатия.

— Ну, вот и ты вернулся. Когда думаешь за работу браться? — и он крепко стиснул руку мастера.

— Нет для меня теперь работы, — тихо сказал Догунов.

— Ну, это ты оставь, Александр Николаич. Тут работы непочатый край. Неужто для тебя не найдется?

— На своей работе я не гожусь, а в будке пропускной сидеть не стану... — ответил Догунов, выдернул из руки директора свою руку и небрежно бросил прочь.

— Заходи завтра утром, Александр Николаич, поговорим! — крикнул ему вдогонку директор.

Догунов плече не ответил и только нетерпеливо повел плечами.

Дни шли. Завод всё более наполнялся жизнью. Прибывали люди, строители. Жизнь на первых дней сменилась первыми гулкими шумами стройки. Однажды, зайдя в свой цех, Догунов обнаружил, что труп немца убрали, и ему стало обидно, что не он, а кто-то чужой позаботился о его цехе. Каждый день, ровно в семь, Догунов являлся на завод. Он трогал руками холодные тела станков. Он всегда относился к ним, как к живым существам. И если случалось, что у кого-нибудь заедал станок, Догунов говорил:

— Грубияннишь ты, — вот станочек и сердится, — и помогал исправить неполадку.

И вот теперь Догунову казалось, что станки только уснули, усталые от дикого глумления над ними немцев, и что они обязательно проснутся, когда к ним притронутся умелые, чуткие руки.

Догунов не мог жить без завода, и в глубине души он готов был согласиться на любую работу, чтобы только не жить без пользы, но ему мешала гордость мастера.

...Через цех шел на обед рабочий паренек и насвистывал песенку. Штаны паренька в поясе были подвязаны бечевой. Паренек заметил обрывок приводного ремня, свесившегося с разбитого колеса, и, недолго думая, достал незачинный ножик и отрезал от ремня, сколько ему было нужно. Примерил — как раз на пояс, — и зашагал дальше.

— Стой! — раздалось откуда-то из глубины цеха.

Парень вздрогнул, оборвал свист и оста-

появился. Казалось, что голос, низкий и суровый, поднатлежал развалинам. Из-за гручты железа показался небольшой человек в суконном шлеме и пошел на парня.

— А, это ты, Александр Николаич. — улыбаясь парень. Он знал Догунова еще до войны. — А я-то думал: что за печистая сила!

Догунов, не мигая, уставился в лицо парню.

— Так... — сказал он тихо, но голос его дрогнул скрытой яростью.

— Это ты об чем, Александр Николаич? Никак о ремесле? — удивленно сказал парень. — Так вещь он бы и так сшил. Тут «глиссоны» разбитые стоят, а ты о куске кожи жалеешь.

— Был бы ты у меня в чисте. — вско сказал Догунов. — заплакал бы ты через этот кусок кожи. Тут на каждую гайку молиться надо, люди через это добро жизни свои отлавали!

— А кто ты такой есть? — от стыда парень обозлился. — Тоже сторож нашелся!

— Молчать! — закричал Догунов и сам не узнал своего голоса. — Смир-р-но!

Парень испуганно глянул на него и неловко вытянулся. Обрывок кожи висел у него в руке и словно обжигал ему пальцы.

— Хозяин завода я, вот кто! — медленно пропнес Догунов, повернулся и зашагал прочь.

— Вешь вот напасть... — расстроено шептал парень и машинально приставлял кусок кожи к ремню, словно он мог прирасти. — А будь ты проклят! — крикнул он всерьезах и отшвырнул его прочь.

Догунов прошел к директору.

— Ставь меня к делу, — сказал он, глядя мимо его лица.

— Добре, — коротко сказал директор и стал ждать, что скажет мастер дальше.

Не называя фамилии парня, Догунов рассказал директору о случае с ремнем.

— Понимаешь, надо нам это добро в руки прибрать. Ведь это богатство, если с умом к нему подойти. С него весь завод отстроить можно, а у нас оно прахом лежит. Я видел — инженеры хотят, учитывают, только они в большом масштабе, а надо каждую гайку...

— Всё понятно, — сказал директор, — действуй.

И Догунов начал действовать. Он сам отобрал людей и вместе с ними произвел полный учет заводского добра. Его знание завода сослужило ему хорошую службу в этом деле: он находит ценный материал там, где другие и не подумали бы его искать. Стройка, развернувшаяся на заводе и в поселке, требовала огромного количества самых разнообразных материалов — шурупов, болтов, пранки, листового железа. Всё это имелось среди развалин, и Догунов мог указать, где какой материал можно найти.

Догунов приучал людей относиться к заводу, как к живому, действующему организму. Там, где вела работу его бригада, нельзя было шатать по целине развалин, входить в пещ через проломы в стене, швырять окурки, хватать, что приглянется.

— Не привыкнешь к порядку, разучишься уважать свое рабочее место. — пропал ты для завода. — говорил Догунов. — Будешь ты и в жилой цех через окно лазить, машины прязнить. Срам и только.

И он заставлял людей обходить груды железного лома, словно это были целые механизмы,

искать дверь в цехе, хотя бы там и нехватало куска стены. Люди улыбались, но повиновались мастеру. Такое уважительное отношение к заводу потягивало людей, прибавляло им веры, что скоро на месте этих руин встанут стройные цехи, заговорят машины, и с этой верой им становилось легче переносить трудности, которыми полны были эти дни жизни возрождаемого из руин и пепла завода.

Догунов тоже сильно изменился. Он уже перестал смотреть на себя, как на инвалида, на внешнего в тираж человека. Он нашел свое место, и место это было не только не меньше, но даже значительнее того, что он занимал до войны. Служба в армии принесла свои плоды: Догунов научился управлять людьми, заставляя их подчиняться его словам, как воинскому приказу. Он научился действовать решительно и напористо, заражая людей своей уверенностью и умением легко переносить всяческие лишения. К концу марта, когда работы были перенесены непосредственно в цехи, Догунова поставили начальником одного из главных цехов.

Однажды, возвращаясь после работы в поселок, Догунов встретил свою жену. Она почти столкнулась на углу улицы, и в первый момент жена не могла произнести ни слова, а только ошупывала его руками, словно сомневалась, что это он — живой и настоящий. Она почти не изменилась, только лицо ее в стареньком платочке несколько опало и потемнело. Милое, родное тепло вошло в сердце мастера и растопило последние слезы горечи его возвращения.

И тут Догунов заметил, что он не очень удивлен встречей с женой. Он настолько верил в за-

вод, что в глубине души был убежден: завод вернет ему всё, что он временно потерял. Взявшись за руки, как в дни молодости, они шли по городу. Воздух был еще по-зимнему студен, но Догуну казалось, что он слышит движение весенних ветров, влажных и легких.

Шкипер уходит в плавание

В роду Савиных все были капитанами. Как завелось на Волге пароходство, так и вышел в плавание первый капитан по фамилии Савин, по имени Степан. От Степана Савина пошло: отец передавал сыну любовь к своей профессии и то, что на Волге называется «секретом речного дела» — острый глаз, твердую руку.

В середине октября прошлого года вышел в большое трудное плавание на буксире «Громобой» последний капитан из рода Савиных — Сергей Петрович Савин.

По убитой первыми осенними дождями стезежке об-руку с женой спустился Савин к пристани. Жена послала синий узелок с дорожными пожитками мужа.

У причала стоял «Громобой», готовый к отправке. Савин взял узелок из рук жены и швырнул матросу, матрос поймал его привычным движением и скрылся в каюту.

— Ну, давай прощаться... — Савин нагнулся и человко ткнулся ртом в холодную щеку жены.

— Ты надолго? — спросила вдруг жена.

Савин ответил, не глядя ей в лицо:

— Сколь не надолго, а все одно — к заморозкам буду дома.

Он тронул пальцами смугловатый локоть же-

ны. Жена смутилась неурочной ласке и вздохнула.

— Ну, живи покамест одна... — проговорил Савин, — жли...

Он легко взбежал по трапу. Буксир обогнул дебаркадер, потеряв на время берет из виду. Когда же берег показался вновь, Савин увидел свою жену. Она глядела из-под руки вслед уходящему судну. Солнце садилось за ее спиной, и она была в золотом обводе, рослая, прямая.

«Красивая все-таки женщина — моя жена, — удивленно подумал Савин. А вслед за тем подумал: — Чего же она всё стоит?» За многие годы привык Савин к тому, что, выходя за дебаркадер, он видел спокойную спину жены, удалявшейся по дорожке к дому. Берег снова скрылся за пристанским строением и снова открылся, а жена всё стояла на том же месте.

«Догадалась она, что ли?» — подумал Савин.

Черный откос шаторой наехал на берег, солнце почти утонуло в реке, но в еле различимой теперь точке Савин узнал свою жену. И твердо сказал:

— Знает... Всё знает...

Разве можно что скрыть от женщины, если она привязана к тебе душевной боязнью, и разве надо ей прямо сказать: «Сталинград», чтоб она почувствовала грозящую тебе опасность?

...В темноте вернулась Ольга Андреевна Савина домой.

— Уплыл папая? — спросил Вова, семилетний сын.

— Уплыл.

— А скоро вернется? — спросила Клаша, старшая на один год.

— Будем ждать и дождемся, — ответила мать.

...Темная ноябрьская волна лизала пустынную кромку берега с редкими обломками гранита, кусками дерева и жести, омывала черные столбы — единственное, что напоминало о прежней пристани.

Но эта картина стала уже привычной для команды «Громобоя», так же, как и черные дыры на срезе берега, где сидели бойцы, держа оборону на узенькой прибрежной полоске, и снаряды, с жирным чавканьем перелетавшие корабль и тратящие в воде свою огневую силу. Буксир подал короткий сигнал и взял курс на берег. Из всех дыр показались бойцы. Они махали над головами винтовками с надетыми на штыки касками.

— Радуются ребятки, живые души, — заметил механик стоящему рядом капитану. Рука Савина лежала в бинтах, лицо заострилось, он ответил молчаливым кивком. — Поди, уже весь боезапас на цемца извели. Мы в самый раз постели...

Буксир подвел баржи к причалу, и сразу по паведенным сходням бросились на палубу бойцы за долгожданным грузом. Команда помогала разгрузке. Надо было воспользоваться сравнительным затишьем. Савин ходил среди людей, помогая здоровой рукой. Мины в деревянных клетках, ящики с патронами, тюки с одеждой, консервы — всё это быстро выгружалось на берег.

По сходням взошел селой полковник с биноклем на худой шею и крепко пожал руку Савину.

— Здорово, юбиляр, — сказал он, — ко времени прибыл. Ребята с выстрела на выстрел перебиваются...

— Почему «юбиляр»? — удивился Савин.

— Сегодня ты у нас двенадцатый раз достом Пешто не считал?

— А я думал — в дватцать четвертый. — улыбнулся Савин. — Мне каждый рейс за два кажется.

— Сильно тревожит?

— Не забывает... — и Савин указал полковнику на нестроганные доски: свежие еще заплаты на палубе и обшивке кают.

...Это было в четырнадцатый рейс. По выходе из порта матросы шутили:

— Раз чортову дюжину миновали — не страшно...

И не было им страшно, как не было и раньше, до чортовой дюжины, когда вахтенный матрос крикнул:

— Справа по борту самолет!

Крик был для формы, сущно не было вооружено. Единственно, что оно могло противопоставить усилиям врага. — это неуклонный путь вперед. Савин негромко приказал:

— Самый полный!

Первые бомбы упали метрах в пятидесяти от судна, окатив палубу столбами воды. Савин стоял на корме и с интересом смотрел, как вела себя бомба в воде. Бомба вошла в воду, оставляя за собой пустую дырку, затем в эту дырку устремлялась вода, узким стволом вырастала вверх, распускалась куцей, и куца эта рушилась вниз.

«Юнкерс» тратил бомбы расчетливо: позволился и пошел во второй захват с носа судна. Он камнем устремился вниз. Свет бомб слепил с воем пикировки. Первая бомба упала впереди корабля, сильно толкнув его в носовую часть и

сбив с движения. Вторая — сбоку, захлопнув и снова открыв люки. Третья поразила сердце корабля — паровую машину. Котел взорвался. Взрывной волной Савина выбросило за борт. Он попытался уцепиться за обломки трапа, но раненая рука не слушалась. Затем ему показалось, что его что-то потащило за волосы, затем река вошла в него огромной зеленой мутью и затопила сознание...

В порту пронесся слух:

— Слышали — «Громошой»-то!.. И Савин тоже!..

— Жаль Савина. Труженик был. Хороший парень.

В порту огорчаются, сочувствуют жене: «Какое ей-то с двумя малыми детьми остаться!» Решают за нее, как ей дальше жить.

А что до всего этого ей, которая ждет. Она и слушать не слушала, и спрашивать не спрашивала. Все дома сидела, никуда не выходила. А как захрустел на реке ледок, поставила в печь кислое тесто для лепешек, которые Савин предпочитал всегда другим.

— Скоро папая придет, — радовались дети, — будет любимые пышечки кушать!

Однажды Вова пришел с улицы и сказал:

— Мамань, Митька мне сказал, что папая не придет.

— А ты глупостей не слушай. По ранней воде папая придет.

Зачастия в гости к Ольге Андреевне боцман, старый приятель Савина. Всегда чего-нибудь приносил в подарок: рыбу в мокрой бумаге, баранок.

Был январь...

Однажды боцман пришел в новой фуражке, поставил на стол полбутылки рябиновки, насыпал

горку черного печенья из ржаной муки и мол стал глядеть на руки Ольги Андреевны. Была она не первой молодости, припухли подрыблевшие веки, смуглый румянец расплылся в ореховую темноватость кожи, но когда по утрам Ольга Андреевна шла в лавку, накинув на плечи шуршащий платок — подарок мужа, — все девчонки порта казались боцману разменной монетой по сравнению с этой женщиной.

— Стань моей женой, — сказал наконец боцман. — Я мужу твоему другом был и тебя не обижу. И детям твоим от меня терпеть не придется. Я добрый...

— Рано вы мужа моего схоронили, — ответила Савина, — а еще другом ему назывались...

И она закрыла свой дом от людей. Только раз зашла она к жене начальника порта и попросила у нее белой муки в долг.

— Моя вся вышла — сказала она, — а я хочу к мужнину приходу лепешечки спечь...

В марте вскрылась река. Прошла ранняя беспешная вода. Над Волгой полетели голоса судов. Ольге Андреевне стало нелегко в ее осиротевшем доме. Она пошла к начальнику порта.

— Пусти меня шкипером на баржу. Не было еще на Волге, чтобы река без Савиных жила. Хочу поддержать честь фамилии.

А про себя смутно надеялась, что где-то в просторе реки она отыщет своего затерявшегося мужа.

Начальник порта сдвинул брови. На Волге еще никогда женщина не ходила шкипером, но отказать он не мог. Старый волжанин, он и сам не мог вообразить, чтобы на реке не звучало имя Савиных.

— А куда ж ты детей денешь?

— Детей твоя жена к себе возьмет. У вас семеро, будет девять. А я в ней не сомневаюсь.

— Добре, — коротко сказал начальник порта. И новый шкипер ушел в плавание...

А в начале мая в порт вернулся живой и здоровый капитан Савин. Он был тяжело ранен и оглушен взрывом, но механик ушел ухватить его за волосы и вытащить из воды. Когда он смог писать, он послал жене весть. Но к тому времени стали суда на зимней реке, и письмо его плутало окружными путями. В один день вышли капитан и механик из госпиталя и каждый взял путь на свой город.

Дом свой капитан нашел пустым, но в холодной печи он обнаружил засохшие кислые лепешки, которые предпочитал всем другим, и понял, что жена его ждала.

— Ну что ж, — то она меня ждала, — сказал Савин, — а теперь мой черед.

И, впервые на Волге, муж стал ждать из плавания свою жену.

Человек с фронта

Дым рассеялся, и шоферы увидели кузов машины, наполовину ушедший в воду, и остов кабины. Брезент был прорван, торчали изуродованные стволы винтовок. Вода, выброшенная на лед силой взрыва, тихою сбежала обратно в воронку.

— Что же делать?—сказал молоденький шофер.

— Ни черта тут не сделаешь, — ответил шофер Стушцын, — все равно не прорваться...

...Четыре шофера, пять сопровождающих бойцов и воентехник, начальник колонны, были люди молодые, — это был их первый рейс на передовую. Они выехали с самыми лучшими намерениями — все сделать по-боевому, прорваться сквозь любую преграду, в кратчайший срок доставить боеприпасы и оружие.

Их несколько не страшила знаменитая горловина, о которой даже бывалые шоферы говорили, что это кладбище для машин. И когда они подъехали к переправе, за которой на противоположном берегу начиналась горловина — узкий проход между двумя цепями наших бойцов, постоянно обстреливаемый немецкими автоматчиками-кукушками, — то все позавидовали Коробкову, шедшему на головной машине. Прорваться решено было

поодиночке, и Коробков съехал на лед, а остальные подвели машины под раскидистые сухие березы на берегу. Коробков мгновенно переправу и двинулся осторожно дальше, вверх по пологому берегу. Короткий треск, — и в первый момент люди даже не поняли, почему машина вдруг резко забрала в обочину и встала. Затем молоденький шофер крикнул:

— Васька! Вась?!!

Смерть застигла их товарища так незаметно и просто, что от этого казалась еще ужасней и незаслуженней.

— Товарищи, нужно прорываться, — сказал воентехник, начальник колонны. — Кто первый?

— Разрешите! — и молоденький шофер умоляющим взглядом посмотрел на воентехника.

— Нет, нет... пужен опытный, классный шофер.

Вышел Найденов, старший по годам. За ним шагнул было шофер Федор Ступицын, затем, словно озлясь на что-то, крикнул:

— Ишь ты, поторопился, — может, я хотел первым! — и, уйдя за спины товарищей, стал копать в моторе.

Найденов стоял молча, хмуро потупившись.

— Вот что, — решительно сказал воентехник, — я пойду первым!

— Как прикажете... — не подымая глаз, с усилием произнес Найденов.

Воентехник погиб на середине переправы. Назойливый стрекочущий звук, на который эти неопытные люди в первый раз даже не обратили внимания, обернулся бипланом «Хеншель», который вынырнул из облаков и уложил рядом с машиной воентехника три небольших фугаса, «Хеншель» ушел в высоту и стал виться над

переправой; изуродованное тело воентехника скрылось в образовавшейся воронке.

Колонна осталась без начальника.

Прошло несколько минут молчания. Наконец молодой шофер неуверенно не то сказал, не то спросил:

— Надо ехать...

Ступицы поднял над мотором злое, в зеленых разводах масла, лицо.

— Ехать... ехать! Вон—уехали... за смертью...

И шоферы продолжали стоять под березами. Они старались не глядеть друг на друга, а тени от берез вытягивались все больше и наконец коснулись реки.

С того берега послышалась песня. Ее пел одинокий голос. Песня была еле слышной, и вначале казалось, что это ветер плутает в верхушках деревьев. Затем песня стала слышной, отчетливой. Затем ее пересекла автоматная очередь, и казалось, что песня смолкла. Но песня жила, и вот слышны теперь были ее слова:

Один любил рыбачку,
Друг и любил княжну,
А третий—молодую охотника жену...

На дороге показался человек. Он спустился к реке и пошел по льду, широко размахивая руками. Теперь, когда он был близко, стало ясно, что он не поет, а просто орет с большим чувством сипловатым, срывающимся на верхах голосом. Он поровнялся с машиной воентехника, уже влезшей в лунку, образовавшуюся на льду, и перестал петь. Спустился на колени и стал осматривать машину, затем отодрал край брезента и увидел, во что превратилась кладь. И шоферы

услышали крепкую, злую ругань. Человек поднялся, поглядел на небо, где в белесых облаках висел «Хеншель», и пошел дальше. Он снова попробовал петь, но ничего не вышло, и он оборвал себя каким-то проклятьем.

Сильными, размашистыми движениями вскарабкался он по крутому берегу — где дорогой, где прямоком через снег — и оказался рядом с шоферами. Человек присвистнул и остановился. Был он не молод, худ, в засаленном полушубке, за плечом — автомат стволом вниз, на ремне — нож, наподобие жинжала, с пробкой на конце.

— Производственное совещание? — спросил человек. — Это ваши там гробанулись?

— Наши, — угрюмо отозвался Ступицын.

— Ну и народ, — спокойно сказал человек, — разве так ездят? Таксомоторщики, а не шоферы!

— Много вас тут по тылам шляется и рассуждает, — сказал Ступицын.

Но человек не обиделся, хотя он и шел от туда, куда только собирались эти парни. Напротив, он счастливо захохотал, открыв рот с желтыми, прокуренными зубами.

— Это верно, ей-богу! Я в тыл иду, в отпуск на три дня. Первый раз за восемь месяцев. Я уже забыл, какой он из себя есть — тыл.

— А вы откуда будете? — спросил молоденький шофер.

— Из артиллерии буду, — ответил человек. — Слышал, брат, о такой? А вы что — сухарики везете?

— Такие сухарики, что проглотишь, — крошки от тебя не останется, — ирочно усмехнулся Ступицын.

— Снаряды? — человек шагнул к Ступицыну

и вдруг резко схватил его за борт ватника. — Что же ты, чтоб тебя в душу, стоишь и лясы точишь? Дальнебойная с утра с залпов на выстрелы перебивается, а опи...

— Ты не очень хватай, — угрюмо сказал Ступицын, но не вырвал ватника из рук человека.

— Где начальник? — коротко спросил человек. — И почему первые машины без бойцов шли?

— Вот где начальник, — хмуро кивнул Ступицын в сторону реки. — А бойцы — на последней. Бойцов берегли. Охрана...

— Охрана... Эх, ты! Небось, на фронте первой? — Люди замялись. — Сам вижу, по глазам... Ну, чего стоите? Живо по машинам!

Трое шоферов было двинулись, повинувшись властному голосу, но Ступицын повернулся на ходу к незнакомцу:

— А ты кто, собственно, будешь? Документы?

— Я-то? — и человек деловито полез за пазуху.

Найденов и молоденький шофер также подошли, и все трое стали рассматривать документы, переходившие из рук в руки.

— Что же, — сказал Ступицын, — все в порядке. Приказывай... только бы тормоза не стереть, — прибавил он озабоченно.

Лицо человека стало злым.

— Да тут разве на тормозах выедешь? Тебя «Хеншель» в пятно сотрет или автоматчики изрешетят! Тут все дело — как ветер лететь! Слушай мою команду! Сейчас мы выведем машины на тот берег и прорвемся сквозь горловину. По спуску — на свободном ходу, смотрите — не потерять колею, дальше на всем газу жать доотказа. О тор-

мозгах забыть. По два бойца с винтовками — на первые две машины, один — на последнюю — огонь по фашистскому самолету! На ходу перезарядиться — и огонь по верхушкам елей. Фрицы на деревьях, их не больше трех десятков, а нас — девять русских! Сегодня вы станете фронтовиками!

Человек пожевал губами, словно договаривая про себя какие-то слова, и вдруг гаркнул:

— По местам! — и сам полез за руль головной машины, усадив рядом с собой молоденького шофера.

Шоферы включили моторы. Молодые бойцы на крытых брезентом грузах щелкали затворами новеньких, не истративших еще ни одной пули, винтовок.

Комья снега, вылетевшие из-под колес головной машины, ударили в переднее стекло следовавшего за ней Ступицына. Тот с какой-то ожесточенной радостью отпустил тормоз.

— Жать доотказа! — еще раз крикнул человек, высунувшись в окно.

Тяжелые машины, приседая на рессоры, покатились вниз, постепенно, словно падающее тело, набирая скорость. Там, где спуск переходил в ровную поверхность реки, Ступицыну показалось, что его машина врежется в головную. Но та газанула, обволоклась синим дымом и понеслась на предельной скорости по извилистой колее. «Классный шофер», — подумал Ступицын. Руль рвало из рук, словно трос на корабле во время шторма, на руках вспухли твердые, мгновенно онемевшие желваки. Ступицын почти лежал животом на баранке. Колея вилась двумя льдистыми лентами, и

казалось, умные колеса сами выбирают ее излучины.

Ступицын чувствовал какое-то странное, пьяное чувство восторга.

Снаружи послышалась прерывистая дробь винтовочных выстрелов. Стреляли бойцы. Они не слышали за шумом моторов слов команды, но поняли жест человека, высунувшегося из кабины.

«Хеншель», перед тем стремительно скрадывавший высоту, взмыл вверх, не сбросив груза. Он пошел на новый заход. Его встретил новый не дружный, но основательный залп. «Хеншель» отклонился, освободился от груза и ушел в облака. Бомбы упали далеко в стороне, и только студеные брызги воды да кусочки льда коснулись лиц бойцов. Они смеялись, не утирая лиц.

И сидящие за рулем, и сидящие снаружи не заметили на обочине замолкшую машину Коробкова с разбитым стеклом и мертвым шофером за рулем.

Машины, гудя от натуги, с ходу взяли пологий берег и устремились по дороге, вдоль которой, метров на полтораста, по обе стороны шли густые ряды деревьев. Это и была горловина.

За надсадным гулом машины водители и бойцы не слышали свиста пуль немецких кукушек. Они обнаружили, что стали мишенью, когда, пробитый пулей, лопнул баллон заднего колеса одной из машин, а из кабины другой высунулся человек и махнул рукой на тускло-синие верхушки елей, выделявшиеся среди других деревьев тем, что на них не было снега. Бойцы открыли прицельный огонь. Они не видели немцев, но каждому из них казалось, что его пуля настигает сердце врага.

За поворот вырвались все три машины. Теперь их защищал от смертной горловины косой срез оврага, поросший нескладно торчащими соснами. Головная машина встала.

— Стой! — сказал человек, выходя из машины.

— Как «стой»? — удивился Ступицын.

— Нельзя бросать машину.

— Да ведь все три здесь!

— Три. А четвертая на дороге. В лей — снаряды. Надо пригнать.

— Задержка это, да и не выйдет ничего...

— Товарищ начальник, можно, я с вами? — спросил молоденький шофер.

— Нет, — сказал человек. — Товарищ Ступицын, вы пойдете со мной. Докажите себя.

Человек пошел вперед, у поворота лег на живот и пополз к обочине. Ступицын гордо улыбнулся и зашагал за ним во весь рост.

— Ложись, — прошипел человек так сухо и зло, что Ступицын поспешил последовать приказанию.

Ползти пришлось долго. Ступицын совсем обессилел. Наконец подобрался к пологому спуску берега, к коробковской машине. Роца молчала. Человек пощупал карбюратор.

— Ясное дело — замерзло. Надо разогревать.

Едкий дымок окутал машину. Костер нещадно дымил, но почти не давал тепла. Тщетно крутил Ступицын ручку завода, а человек «подсасывал» в кабине. Все нет и нет радующего звука первой живой искры в моторе.

Дымок вылали людей. Немцы, возможно, и не видя их, поняли, что кто-то пытается оживить машину. Звенящие тяжи пронизали воздух. И под этот назойливо-щемящий звук, уже не владея

патруженными, липнущими к холодному металлу руками, Ступицын понял, что есть другая война, куда более обыденная и страшная, чем та, которая недавно открылась ему в стремительном движении рвущей невидимую преграду машины.

Прошло около часа, когда тепло костерика и усилия людей сделали свое дело. Мотор ожил. Человек сильным рывком вывел машину из обочины и, секунду помедлив, вручил Ступицыну свой автомат. Он сел за руль, Ступицын взгромоздился паверх.

Слова мчалась машина. Но теперь Ступицын, прижимая ветер в лицо, бил из автомата по спящим верхушкам елей. Ступицын страстно любил движение. Он чувствовал нежность к ветру, проносящемуся мимо, к дороге, косой штриховкой исчезающей под колесами, к набегающим теням деревьев, от которых кружилась голова. В движении он чувствовал себя чистым и сильным. Сейчас это соединялось с толчками автомата о плечо, с незнакомой прежде блаженной тяжестью оружия, гордостью впервые проверившей себя души. Он был весь исполнен шумящей огромной радости.

«Вот так же, должно быть, в атаке, — думал Ступицын, — летишь в несущемся на врага танке или самолете, и все дрожит от выстрелов и движения!» Ему стало грустно, что он только воитель и едва ли придется ему испытать это. Но ведь он на фронте, а здесь каждый делает свою судьбу.

— Хорошо-то как! — сказал он, когда машина, не дождав до поворота, остановилась и человек вылез из кабины.

— А то плохо! — отозвался тот. — Садись-ка ты за руль.

Ступицын был настолько полон своим, что не заметил, как на побелевшем лице человека ярко выступили темные разводы масла. Человек неловко вскарабкался в кузов, держа левую руку в кармане. Ступицын сел рядом с мертвым товарищем. Коробков сидел, привалившись в угол кабины, от виска до ворота запеклась струйка крови. Его рука лежала на тормозном рычаге. Ступицыну стало жаль товарища, которому уж никогда не придется испытать того, что испытал он, Ступицын. Он положил руку на холодные пальцы друга и перевел рычаг. Короткий пробег — и машина на тормозах вошла в строй колонны.

Человек, все не вынимая левой руки из кармана, неловко, бочком слез с кузова.

— Ну, теперь все в порядке, — сказал он, обращаясь к шоферам и бойцам. — Слагаю с себя звание начальника. Дальше проследуете сами. Вот вам мой рапорт, друзья. Четыре машины с боеприпасами. Груз в сохранности. Потери в материале — один баллон. В людях потери нет. Один получил парашину.

Он улыбнулся и вынул из кармана руку. На тыльной стороне ладони лежал темный и густой, как студень, сгусток крови.

— Вену задело, только это чепуха, — сказал человек. — Блята нет? Эх, вы, вояки! — Он стянул с ноги валенок, отвернул верхнюю часть портянки, оторвал полосу и наложил на рану, потом оглядел шоферов и остановился взглядом на Ступицыне.

— За начальника колонны до места назначения оставляю Ступицына. А затем прощайте... товарищи-фронттовики!

— Ну, нет, — сказал с отеческой нежностью

Найденков, не проронивший до того ни слова, — мы тебя, парень, так не отпустим. Поедем до врача!

— Еще что, — озлился человек. — Стану я время терять. Жди потом другого отпуска! Ну, бывайте...

Он махнул здоровой рукой и поспешно залпал, словно боялся, что его насильно остановят. Скоро его фигура потерялась в насупленных вечерних тенях.

— Вот парень! — сказал от души молоденький шофер. — Его бы к награде надо...

— Я подам рапорт командованию, — сказал Ступицын, — что, мол, боец такой-то... Как его?

Но оказалось, что ни один из шоферов не запомнил его фамилии. Ступицын смущенно развел руками.

— Может, догнать его? — сказал молоденький шофер.

И в этот момент пахнувший в лицо людям ветер донес слова далекой песни:

А третий—молодую охотника жену...

— Нельзя, — сказал Ступицын. — Время дорого, — и он подумал, что человек одобрил бы его слова. — По машинам!

И Ступицын сам не узнал своего голоса.

Отец

— Послушайте, майор! — крикнул инструктор подива, вылезая из машины. — В деревне оказался ваш однофамилец!

На опушке березового леса стояла группа командиров, следя, как последние части и обоз входили по размытой весенним таянием дороге в занятую утром деревню. Деревня эта являлась важным опорным пунктом немцев в системе их обороны большого города, взятие которого было конечной целью начатой операции. Деревню захватили почти без потерь — внезапный обходный маневр двух наших батальонов вынудил немцев поссещно отступить. Они бросили технику и даже не успели спалить деревню, обещавшую нашим усталым частям верный отдых в своих присадистых, крепко сколоченных избах. И офицеры были довольны. Они веселой группой окружали командира полка, майора, высокого светловолосого человека лет двадцати восьми. Он что-то рассказывал, и командиры часто прерывали емехом его рассказ. Услышав оклик инструктора, майор с улыбкой обернулся.

— Кондаков — не такая уж редкая фамилия, — он ласково-выжидательно смотрел на инструктора подива.

— Конечно, но забавно, что его зовут, как

тебя, только наоборот: Михаил Павлович. Запятый такой, похож на крючника, а говорит, что профессор. Любопытно встретить... — Инструктор остановился, удивленный внезапной бледностью, выступившей на загорелом лице майора.

Майор провел пальцами по лбу, словно скидывая соринку.

— Слушай, как он выглядит, этот твой профессор? Коренастый такой, плотный?

— Нет... — Инструктор, сам не сознавая почему, обрадовался, что приметыв, названные майором, не совпали. — Маленький человечек, хулуший, дряхлый. Не то чудак, не то помешанный... Но говорит здорово, речь и впрямь профессорская, даже французским пересыпает.

— Ты не заметил... — начал майор, запнулся, проглотил слюну, — ничего не заметил у него на щеке?

— На щеке? Постой, постой, действительно, красноватый нрам от глаза к уху...

Майор Кондаков издал странный гортанный звук и бросился к машине, ша которой подъехал инструктор.

— В деревню! — проговорил он, задыхаясь.

Синий дым окутал машину и скрыл ее от глаз удивленных командиров.

На деревянном мосту через ручей образовался затор. Майор выпрыгнул из машины, пробрался среди сбившихся в кучу повозок и грузовиков, нагнал пустую телегу и коротко бросил ездovому:

— Гоня!

Ездовой хлеснул лошадь по буграстой спине. Держась руками за передок телеги, майор напряженно вглядывался в дорогу. Она была почти

пустая, лишь несколько бойцов хоззвода шли, гремя котелками, да покачивался на двуколке котел полевой кухни.

Он заметил, как далеко впереди с обочины поднялась маленькая черная фигура и двинулась ему навстречу. Человек шел медленно, то и дело останавливался, прижимая руку к груди. Было в этой одинокой фигурке что-то до того жалкое и покинутое, что у майора сжалось сердце. Он соскочил с телеги и в обгон ее побежал по дороге. И ведь не мог он на таком расстоянии распознать черт лица, но, тем не менее, он вдруг отчетливо увидел это столь чуждое в своей худобе и такое родное, знакомое лицо. И человек тоже остановился, вытянул тощую шею, быстро зашагал, словно падая вперед, затем остановился, снял с головы шапку и замахал ею. Майор подбежал, обнял тощую, в лохмотьях, фигурку и почувствовал, как отделилось от земли по-детски полегчавшее тело его отца.

— Ну вот, повеяла завершена, — сказал отец, — теперь можно умирать...

— Зачем ты так говоришь, отец?

— Павел, это уже агония. Я жил только мыслью еще раз увидеть тебя. И ты знаешь, я ведь шел навстречу тебе. Я почему-то был уверен, что, когда придут наши, ты будешь среди них... И вот сбылось, мальчик мой дорогой... Какой ты стал большой и красивый...

Он тронул щеку сына. Рука его была слабая и холодная.

— Что они с тобой сделали? — сквозь стиснутые зубы, чтоб не разрыдаться, спрашивал сын.

Отец ничего не ответил. Медленная крупная

слеза выкатилась на его щеку и растеклась по ложбинкам морщин. Сып не хотел, но не мог не смотреть на его до боли преобразившееся лицо: темное, почти черное, с завалами щек и двумя горькими глубокими складками от крыльев носа к углам рта. Особенно поражало выражение его глаз: виноватое, испуганно-счастливое и отсутствующее, словно он и жил и не жил этой минутой. На нем была гимнастерка, ставшая белеющей от дорожной пыли и пота, штаны из мешковины с пузырями на коленях, на ногах—галоши из автомобильной шины, подвязанные лыком.

Отец был не в силах пешком идти в деревню — отказывало сердце; они подождали, когда подъедет телега. Майор посадил отца и сам сел рядом. На ухабах его плечо касалось худого, острого плеча отца, и мучительная жалость заливала его сердце. Оба молчали. Майор силился вспомнить отца таким, каким он был прежде.

В воображении вставал белый зал с высокими стенами и уходящие под потолок ряды амфитеатра, полные кричащих, аплодирующих студентов. Косые лучи солнца, проникающие сквозь стрельчатые окошки, освещают взволнованную, возбужденную толпу молодежи. А внизу, у старой кафедры, маленький человек в черном костюме вытирает платком выпуклый загорелый лоб и с чуть застенчивой и тоже взволнованной улыбкой принимает дань любви и уважения своих учеников. И он сам, тогда еще не майор, а студент — второкурсник исторического факультета, перегнувшись через пюпитр, аплодирует до боли в ладонях. И чувствует, что слезы навертываются ему на глаза, и не стыдится этих слез. Он даже не помнит в этот момент, что ма-

ленький человек у кафедры — его отец. Он знает только, что человек этот, завершивший годичный курс истории, открыл им волнующе сложный мир исторического процесса, провел их путями многовековой человеческой судьбы, научил любить человека, сделал их добрее, лучше.

А потом они вместе шли домой. Был июль, и голубой асфальт проминался под ногами. Молодая женщина в горошковом платье поклонилась его отцу и улыбнулась. Отец, сняв шляпу, ответил на ее поклон с немного старомодной вежливостью. И он подумал почему-то, что молодая женщина влюблена в его отца, и обрадовался этой мысли, потому что сам очень любил этого умного, доброго, насмешливого, широкого человека...

Мысли майора были прерваны взволнованным, испуганным голосом отца:

— Вот, вот мои бумаги... Это мой сын... я шел встретить сына... это мои бумаги... я ничего не нарушил!

С жалкой, растерянной улыбкой и со слезами в вытаращенных на исхудалом лице глазах отец совал какие-то смятые бумажки бойцу патрульного взвода, остановившего их телегу.

— Что такое? — строго спросил майор.

Боец козырнул.

— Я пропуск у них спросил, потому — они в штатском.

— Я в штатском, да... да, вы совершенно правы... вот бумаги.

— Успокойся, отец, — сказал майор.

Боец козырнул и вытянулся. Его широкое, крепкими скулами, лицо выражало недоумение.

— Трогай! — крикнул майор ездovому. Глухая злоба, жалость, обида душили его.

— Прости, Павлик, — тихо сказал отец, словно очнувшись, — не так легко отвыкнуть...

Прежде чем идти в дом к хозяйке, приотвешившей отца, майор зашел в хозчасть и получил продукты: масло, консервы, чай, колбасу, концентраты, сахар. Увидев масло, отец заплакал. Он держал в руке желтоватый гладкий брусок, и слезы катились из его глаз. Но есть он вначале не мог. Голодный желудок не принимал пищи.

— Мне все стало во вред, — сказал он грустно, — даже хорошее.

— Может быть, тебе лучше выпить чаю со сгущенным молоком?

Майор попросил хозяйку поставить самовар. В ожидании чая они сидели за длинным деревянным столом. Отец отламыгал маленькие кусочки от хлеба, глотал их и словно прислушивался к тому, как кусочки шли по пищеводу. Казалось, он целиком ушел в это занятие. Майор тоже молчал. Вопрос, который он задал отцу в первый момент встречи, комком торчал у него в горле, но он не решался повторить его, боясь, что не сможет поднять этот новый груз. Отец заговорил сам. Вздохнув, он отодвинул хлеб и спросил:

— Ты, наверное, очень удивлялся, Павлик, не получая от меня писем?

— Я думал, ты потерял адрес. Я ведь не знал, что ты не смог эвакуироваться.

— Наш эшелон разбомбили. Волей-неволей пришлось остаться. Я надеялся, что обо мне не

вспомнят. Но меня вызвали и предложили читать новую историю. Новую историю! — в первый момент я даже не понял, о чем идет речь. Заплечных дел мастер в должности профессора сказал, что институт наш будет работать на новой, «здоровой» основе. Когда я отказался, сославшись на плохое самочувствие, он сказал: «Мы очень упрямые люди, герр профессор...» — «История тоже упрямая вещь, герр профессор». — «Что вы хотите сказать?» Ты знаешь, у меня всегда была эта несчастная привычка острить. «Жалко, что при бомбежке погиб профессор Травин, вот кто мог бы занять кафедру новой истории», — сказал я. «Но профессор Травин мифолог?» — он хотел показать, что знает русскую науку. «Вот именно. Кафедра новой истории была бы как раз для него».

Он был тяжелодум, этот герр профессор. Моя шутка дошла до него только на следующий день... Я это понял потому, что только на другой день за мной пришли. Меня послали убирать нечистоты. Они думали этим меня унижить. Через месяц меня снова привели к герру профессору. Он спросил, как мне нравится новая специальность. Я ответил, что это лучше, чем читать новую историю. Он рассердился: «Вы, кажется, могли заметить, что я понимаю шутки?» — «Да, я рад, что нашел ценителя...»

Меня отправили туда... Да... вскоре у меня пропала способность острить... почти все пропало...

— Что они с тобой делали, отец?

— Не надо об этом, Павлик. Ты молодой, жизнь у тебя и без того не легкая... Зачем тебе знать, как из человека вынимают душу...

Хозяйка внесла на вытянутых руках самовар. Майор хотел налить, но расплескал чашку.

— Дайте я налью, — сказала хозяйка. Упругими и какими-то радостными движениями, как женщина, долгое время лишенная тепла хозяйственных забот, она стала разливать чай и заботлять его сгущенным молоком. — Какое у вас молочко-то, господи! — сказала она умиленно.

— Возьмите себе, хозяйюшка.

— Да я не к тому... Пускай ваш шалаша кушают. поди, у них одна шкурка осталась!

— Ну, а когда я стал таким, как сейчас, — докопчил отец, — они отпустили меня на все четыре стороны. Но перед этим мой гелертер не мог отказать себе в удовольствии взглянуть на меня. Он тоже оказался остряком. он сказал, что хочет приложиться к мощам бывшего историка Кондакова. Но он ошибся, Павлик. — победил я. Это была самая моя большая победа. Жалкий, больной, может быть, умирающий, я все же встретился с тобой, и ты не скажешь: у меня нет отца...

Наутро майор должен был выехать в часть. Отец вышел его проводить. Майор с трудом принаравливал шаг к медленной, затрудненной поступи отца. Он старался говорить исключительно деловые вещи: он пришлет отцу врача, надо будет строго исполнять его предписания, не кушать сразу помногу, — это вредно, лучше — часто и маленькими порциями. Через месяц он постарается к нему приехать, надо, чтобы он чувствовал себя к этому времени молодцом. Тогда он отправит его в Москву, и отец снова займется наукой, преподаванием. И хотя отец кивал и улыбался своей новой, развернутой какой-то

улыбкой, сын заметил, что отец не слушает его. Отец часто прикладывал руку к сердцу, и на лицо его набегала страдальческая тень.

— Плохо с сердцем, отец?

— Ничего, ничего, Павлик...

Отец жадно вглядывался в даль. Сын перехватил его взгляд. Впереди была только дорога, размытая по весне, уходящая полями к лесу, и мокрые телеграфные столбы вдоль нее. Майор остановился.

— Тебе трудно идти? Не провожай меня дальше...

— Павлик, давай дойдем воп до того столба,— сказал отец. — Если мы дойдем, — значит, мы обогнали курносую, и мне больше ничего не надо. Ну, идем...

Он взял сына за руку и сделал первый шаг. Хотя он говорил все это как бы в шутку, сыном овладело странное чувство. Ему показалось, что путь до этого столба бесконечно труднее всего пути, который проделал он по дорогам войны. Они прошли несколько шагов, и отец остановился, тяжело дыша. Сын чувствовал, как слабые пальцы отца силятся пожать ему руку.

— Ну, идем, — сказал отец, и на лице его не было улыбки.

Он быстро, наклонившись вперед, зашагал к столбу, почти падая при каждом шаге, но не упал, дошел и оперся ладонью о влажную кору нестрюганого соснового столба.

— Ну, вот,—мы победили, мальчик. Прощай... Я рад, что мой сын — мужчина и воин..

Он поднялся на носки и трижды поцеловал майора.

— Нет, отец, — сказал майор, — наш путь

еще не кончен. Когда я вернусь, мы дойдем с тобой вон до того дерева...

И он указал отцу на далекую полоску леса, над которой возвышалась раскинутая, голубая в нежном свете утра, дубовая крона. Стежок тумана перерезал дерево, и казалось, что крона свободно висит в воздухе над лесом...

Отец долго глядел ему вслед, все так же опираясь рукой о столб. Фигура его уменьшалась и уменьшалась, но не исчезала совсем. Затем дорога свернула, и отец, и столб скрылись.

Сидя в машине, мягко скользящей по весенней грязи, майор думал о маленьком и любимом человеке, с которым так неожиданно и горько свела его судьба.

«Вот это был мой отец, — говорил он себе. — Что такое: «мой отец»? Это не только человек, от которого я случайно родился. Это мой друг, больше, чем друг. Когда я, задумавшись, черчу букву «о» у себя на щеке, — это от отца. И когда мы много дней держались под Крутым бором без еды, с глотком воды на день и я один был в состоянии шутить и смеяться, — это тоже от него. Он передал мне это, сознательно и бессознательно вошло это в меня. Я не выбирал себе отца, но, если бы я мог выбирать, я выбрал бы себе такого отца. Я думал, что всегда останусь твоим неоплаченным должником, отец, и так жалею, что этого не случилось. Но теперь я могу заплатить тебе свой долг, и я это сделаю. Я никогда не забуду и никогда не прощу...»

По дороге коренастые лошади тащили орудия. Слобу шагали артиллеристы. С их плеч свешивались плащ-палатки, концы которых нагрузли придорожной грязью. Это было подкрепление.

которое майору обещали в дивизии. Люди проле-
тали длинный путь, в их шагах чувствовалась
усталость, но они весело перекликались, поку-
ривали, и майор видел, что настроение у людей
хорошее, они верили в счастливый исход пред-
стоящих боев. По горизонту возникла дымная
полоска — передний край. Майор стал думать о
больших боях, которые скоро начнутся, и о тех
сюрпризах, которые готовил немцам, и улыб-
нулся.

«Голубое, голубое дерево! Мы еще дойдем до
него, отец».

С о д е р ж а н и е

Солдатская душа	3
Зерно жизни	11
Мать	23
Старики	28
Переводчик	41
Связист Васильев	59
Последний штурм	67
Пехотинец	82
Большое сердце	92
Ночь перед бсем	101
Возвращение мастера	110
Шкипер уходит в плавание	121
Человек с фронта	123
Отец	139

Редактор *А. Митрофанов*

A7828. Подписана к печати 28/III 1944 г. Печ. л. 4^{8/16}, Авт. л.
Уч. изд. л. 5,7 Тираж 15000. Заказ 1770. Цена 3 р.
Тип. «Красный печатник» Москва, ул. 25 Октября, 21

